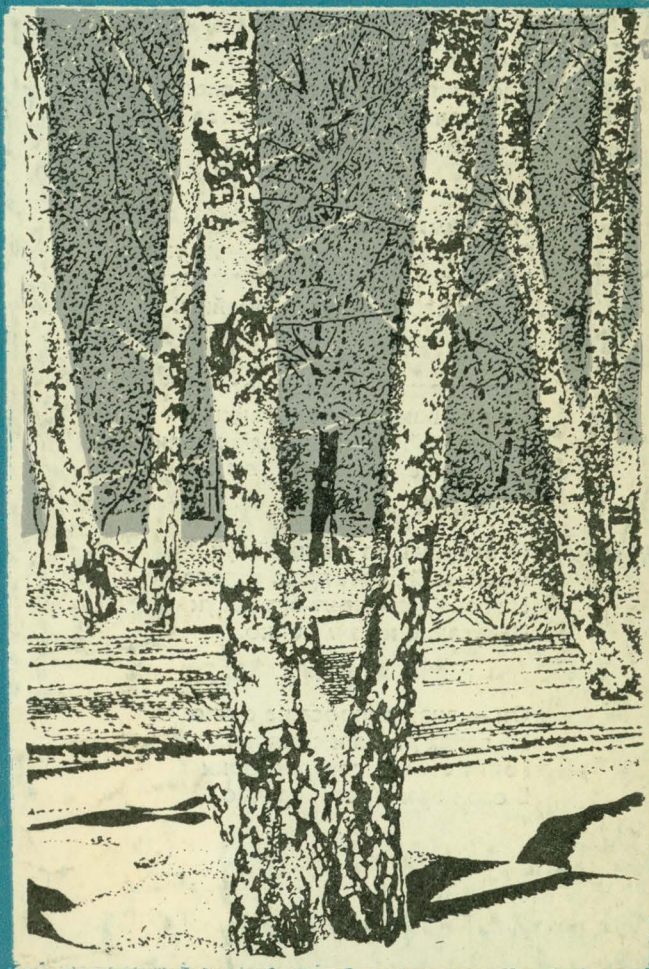


0-38 362580

**ОГНИ
КУЗБАССА**

№ 4-1974



Геннадий Юров

ГОРОД В ТАЙГЕ

Березовский. А он еще
Осиновый и тополиный,
Кедровый, ивовый, полынный,
Рябиновый — среди чащоб.

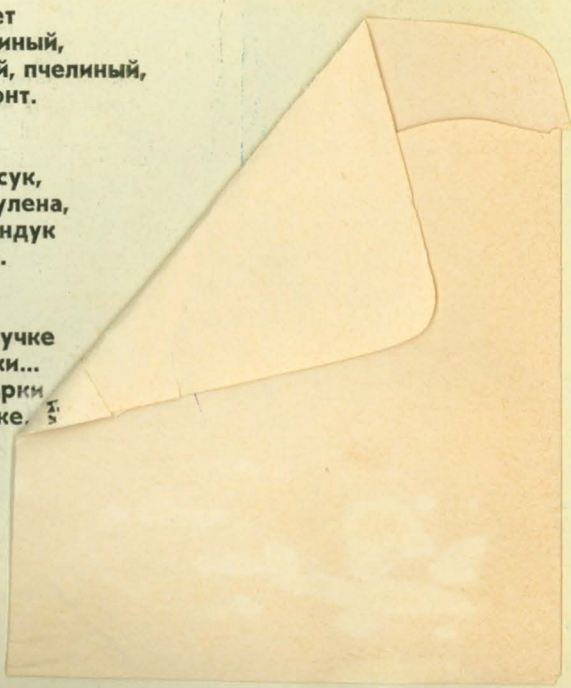
Где оплела стволы трава,
Где в пихтачах хранится влага,
Кварталы — словно острова
Растущего архипелага.

Под ними Запад и Восток.
Под ними клад земной — не тайна.
По трассам угольных пластов,
Как корабли, идут комбайны.

Березовский. А он ведет
На рябчиковый, соловьиный,
Хмельной, ромашковый, пчелиный,
На свой зеленый горизонт.

И, забежав на верхний сук,
Сосновый вертопрах, гулена,
На город смотрит бурундук
Испуганно и изумленно.

Он — знак вопроса на сучке
На запах дыма и солярки...
Горит огонь электросварки
В его коричневом зрачке.



ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕН-
НО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ, ОРГАН КЕМЕ-
РОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР



390345

Выходит ежеквартально

Год издания 26-й

№ 4(45)

ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В Н О М Е Р Е

НАШ СОВРЕМЕНИК

Геннадий Емельянов. Мой знакомый Эдисон . . . 3

ПРОЗА

- Владимир Куропатов. На телеге. Пожили-порабо-
тали. У магазина. Сашка-водовоз. **Рассказы** 16
- Зинаида Чигарева. Маша. Концерт для скрипки с
оркестром. **Рассказы**. 39
- Владимир Мазаев. Хочу лететь на Модуйку. **По-
весть** 62

СТИХИ

- Геннадий Юров. Город в тайге.
Александр Родионов. «Друг мой давний...». Топо-
графические воспоминания. «Аккуратненько подроби-
ли...» 15
- Иван Полунин. «Когда порывистая осень...» «Без гро-
ма и молний...». «Заколобродила турга...». «Передохну
на перевале...» Здесь когда-то... 37
- Галина Золоткина. «Стоят, как ветераны, тополя...». «Я
вся похожа на тебя». «Не заумною и мудрою...» . . . 60

СТИХИ ДЕТЯМ

Александр Береснев. Еж. Спрятались. Помощник	91
Анатолий Кислицын. Шар. На прогулке. Лиля	92
Валентина Томилина. Вьюжица. Осень. Тучи	93

ПРОБЛЕМА! ДА, ПРОБЛЕМА

И. Дрейцер. Информация: благо или зло?	94
--	----

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

Олег Павловский. Шишкарь. Подводный домосед.	101
--	-----

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М. Кушникова. Обычное дело.	106
-----------------------------	-----

СЛОВО — КРИТИКЕ

В. Копылов. Этот трудный «легкий жанр»	113
Содержание альманаха за 1974 год	117

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА

Геннадий Кравцов. Самые первые.	119
---------------------------------	-----

Редактор **В. М. МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия: **Е. С. БУРАВЛЕВ**, **А. Н. ВОЛОШИН**,
Г. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, **В. В. МАХАЛОВ**, **О. П. ПАВЛОВСКИЙ**
(отв. секретарь), **З. А. ЧИГАРЕВА**, **Г. Е. ЮРОВ**.

Адрес редакции: 650099, г. Кемерово-99, Советский проспект 94, тел. 6-85-14

Рукописи не возвращаются.

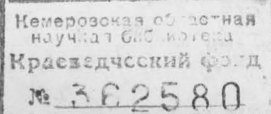
Оформление художника **Г. И. Кравцова**

Ведущий редактор **Л. В. Глебова**; художественный редактор **Г. И. Кравцов**; технический редактор **Г. В. Адова**; корректор **В. А. Лузина**

Сдано в набор 2.VIII.1974 г. Подписано к печати 4.XI.1974 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 8,76. Уч.-изд. л. 9,35. Тираж 5000 экз. ОП19968. Заказ № 7164. Цена 38 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово, Ноградская, 5.

О $\frac{0732-46}{М 145(03)-74}$ 33—74

© Кемеровское книжное издательство, 1974



Геннадий Емельянов

МОЙ ЗНАКОМЫЙ ЭДИСОН

1

Он провожал меня до дверей цеха и говорил, улыбаясь пепельными своими глазами:

— Верись, до сих пор тянет куда-то. Как в детстве. Бывало, марку с пальмой или морем увижу, сердце так и зайдется: эх, поехать бы, поплыть бы или пешком пойти! У нас тут все молодежь, и каждый, знаю, таит заветное, но не каждый своего добьется: у одного воли не хватит, у другого — таланта, я понимаю, но и завидую им. У них жизнь впереди, пробовать можно, а?

Полчаса назад он мне советовал, как ловчее в тайге рвать смородину:

— Беру, значит, старые носки, протыкаю для пальцев отверстия и вот тебе никакие колючки не страшны. А окна мыть умеешь? Я на даче у себя приспособление наладил, проще пареной репы. Смотри...

Здесь он весь, Гурьянов — неистовый, очарованный и смекалистый, как Левша. Он с детства неистовый.

Пионером в селе Троицком Алтайского края агитировал за колхозы, книжки глотал пудами и не ходил — все бегал. Степенные кержаки смотрели ему вслед с некоторой укоризной — им чудилось, что за спиной шустрого парнишки вороночкой завивается воздух.

В Троицком Вася Гурьянов жил один. Отец уехал на дальние лесосеки «робить деньги», и семья с ним. Большенький Василий кончал седьмой класс и снимал закуток у дяди Вани Наседкина по улице Льва Толстого.

Троицкое — село старинное, улицы там широкие, вдоль заборов мурава да кашка, наличники на окнах кружевные, крылечки с балясинами, постройки вызолотились на солнце и бревна местами похожи на латунные гильзы огромных размеров.

Гурьянов качает головой и обязательно улыбается, когда вспоминает свою общественную деятельность на поприще коллективизации:

— Сунулся раз в избу, усекаю, мужички сидят по лавкам вдоль стен, курят и сопят. Догадываюсь: спорили, да я помешал. Начинаю про свое. В колхоз, дескать, пора, граждане. Вот вы тут махру изводите. Сколько вас? Ага, шестнадцать в наличии. Через год-два, а то и раньше, на посевную или уборочную натурально можете штаны на лавках протирать, за вас трактор марки «фордзон» все произведет, у него в моторе на артельщика по лошадиной силе, если не больше. Вот что такое колхоз, значит.

Белый дед ответил, шевеля бородой на тугом, непролетарском пузе:

3

— И записывай в колхоз свой трафтур, галчонок неприятный! Шать отседова, стерва, не то на сапоге вынесу!

Сапог, одобренный детем, был похож на мокрый валун, и Вася Гурьянов, юный активист, скатился с высокого боярского крылечка, сопровождаемый запойным хрипом кобелей. Вася понес свою неизбывную печаль в комсомольскую ячейку. Ячейка же настаивала ни в коем разе не вешать носа и взяться как следует, назло проищам, за дядю Ваню Наседкина, поскольку дядя Ваня был книголюбом из сочувствующих и ладил в сарае молотилку невиданных возможностей — самоходную и с паровым котлом.

Смолоду Наседкин вынашивал думку покрыть свой дом железом. На склоне лет думка сбылась, и крыша аспидно-зеленого цвета, едва ли не единственная в селе, виделась с горы за десять верст. Дядя Ваня и не прочь бы в колхоз, да боялся, что отберут железо. Он, пьяненький, выходил под дождь, стоял на дворе подолгу и, клоня голову к плечу, строжил сам над собой:

— Ты, Ваня, совсем никудышный! Что-то надоть совершить, ждуть люди-то!

Вася Гурьянов не дождался, когда дядя Ваня справится с тоской, окончил семилетку и осенью 1933 года укатил строить Кузнецкий металлургический завод.

Завод уже жил, уже топились коксовая батарея, выдавала чугун домна.

У новичка по первости кружилась голова, вкрадывалось сомнение, что в этой вселенской кутерьме век не разобраться.

Столичных проверяющих в разных ипостасях возили в ходке с рессорами или даже на легкой — для высшего шика. Гости стонали в пути и придерживали челюсти: дорога до гостиницы была вымощена бревнами и трясло на ней так, что щелкало в затылке.

Вылезти из грязи без сапог было делом обыкновенным.

В клубе имени Эйхе спектакли давали в две смены. Зритель оставлял в вестибюле обувь и проходил на отведенное место при онучах или вовсе босиком.

И кого тут только не было!

Расстелив на травке грязный платок, узбек в стеганом халате творит молитву на закатное солнце, рядом в кругу своих волоокий грузин наяривает лезгинку, дальше смурной дяденька чинит хомут, еще дальше комсомольцы разучивают новую песню про героического бойца-пограничника.

Землянки, палатки, бараки... Скрипят телеги, устало отдувается домна, от коксовой батареи упругими витками поднимается дым, на путях истошно кричит паровоз.

Василий Гурьянов определился в ФЗУ. Он увлекался тогда историей и ночами с Верхней Колонии любил смотреть на строительную площадку, освещенную сотнями костров. Огонь внизу был всяких цветов и оттенков — желтый, рубиновый, кроваво-красный. Костры клонились и вздрагивали, как на поляне жарки. Красиво. Печатляло.

Фезеушнику Гурьянову представлялось, будто внизу стало лагерем огромное войско. Путь войска далек и неровен, но впереди — победа.

2

Воспитанник кузнецкой школы доменщиков электрик Василий Григорьевич Гурьянов стал со временем знаменит. Но ему не слали букетов, и поклонницы не писали восторженных записок, для него не играли оркестры. После удач в приказах о поощрениях возникал некороткий перечень сподвижников, неудачи же он, случалось,

встречал один на один, и директор комбината Роман Васильевич Белан кричал по телефону:

— Гоните вы этого изобретателя в три шеи!

Директора понять можно, у директора — план. И он, в конечном счете, тоже просто человек при сердце и нервах.

Заместитель председателя Совета Министров СССР Иван Федорович Тевосян, хмурясь, говорил:

— Верю в тебя, Гурьянов. И боюсь: слишком тяжелый груз берешь ты на плечи. Не озлобляйся и не думай, пожалуйста, что вокруг тебя одни ретрограды. Тут производство, понял?

— Да уж как не понять!

— Буду верить в тебя!

— Попробуйте.

— Тоже груз на себя беру.

— Понимаю, Иван Федорович.

— Моя спина хоть и широкая, да все одно за ней ты не спрячешься, кто-нибудь приловчится и даст тебе промеж глаз. А ты не скули!

— Стерплю поди...

— Терпи, атаманом будешь.

Почетный гость из Англии, металлург и профсоюзный деятель лорд Ситрин имел к Гурьянову интерес, так сказать, сугубо личного характера:

— Мистер э-э-э Гурьянофф, какой колледж вы закончили и есть ли у вас э-э-э автомобиль?

— Института не кончал, машины не имею.

Профессор Томского политехнического института (перед тем, как задать вопрос, снимал очки. Размытые его глаза были влажны и беспомощны):

— Здесь, если не ошибаюсь, схема фирмы «Отис»?

— Я от этой схемы рожки да ножки оставил. Отстают американцы.

— Ну и ну! Вы какой кафедрой заведуете?

— Я монтер, электрик! — Гурьянов сердился не на шутку. Вопросы подобного рода его раздражали.

— Позвольте вам не поверить, коллега. Я, к сожалению, не обладаю чувством юмора.

— Оно и видно. Я — монтер!

— Ну что же, уважаю шутников, — профессор интеллигентно вздыхал и не верил ни Гурьянову, ни его ребятам.

Все это будет потом — и заморские гости, и комиссии, и слава, наконец, подгорченная именитыми спектаклями, и дезертирство единомышленников. И Великая Отечественная война будет. И десять лет невиданного напряжения.

В 1934 году на КМК заканчивали монтаж третьей домны. К ее пуску ЦК комсомола направил в город молодых специалистов уже советской выучки — осваивать производство, набираться опыта и дерзать.

Василий Гурьянов после окончания ФЗУ работал на ТЭЦ, но монотонности вынести не мог и без спросу сбежал на комсомольскую домну. Кстати, до сих пор не рассчитался. Его все просили: зайди, ради бога, в бухгалтерию: там тебе что-то еще и причитается, на отчетности рубли твои висят. Так и не зашел — все некогда. А пути до бухгалтерии — метров двести.

Мы идем вдоль путей. По этим путям в ковшах отвозят чугун на мартены или в передел. Горячий уголь падает из паровозных топок и кипятит в снег намертво, до весны. Из труб повсюду с хищным посвистом вырывается пар, сверху грибным дождем падает вода, она жалит и колется. Пахнет коксом и холодным железом.

На Гурьянове легкое пальтишко и черная шапка ушами врасылок. Он оживился и признается, что до сих пор волнуется, когда выпускают чугун. Только что мы с ним были на литейном дворе и видели, как по канаве, вихрясь и всплескивая, бежал чугун, тяжело и отчетливо падал в ковш. Над нами плавали и гасли зеленые искры. Даже горновые, отрешась на минуту от хлопот, застывают на берегу kloкочущей реки — похоже, тоже не привыкли к операции, прозаически названной выпуском.

Гурьянов берется за ручку железной двери («здесь!»). Дверь открывается неохотно и скрипит. Видно, заглядывать сюда охотников негусто. Гурьянов угадывает мою мысль:

— Человеку здесь делать нечего.

Мы осторожно спускаемся по железной лестнице в преисподнюю. Здесь нагружают составляющие — кокс, шихту, известняк, окалину — в скипы, скипы же бегут вверх по эстакаде и отдают пруж печам.

В подземелье пыль — черная и густая. Пыль лежит горками на ступицах лестниц, на цементном полу, мягко падает за шиворот.

— Плохое сырье, — говорит Василий Григорьевич. — Мечта доменщиков — иметь комкастый агломерат заданных фракций, а дают сажу. Но работать надо.

В подбункерном помещении катается по рельсам узкий вагон на высоких колесах. Это по существу робот — он берет сырье, взвешивает, отдает. Автоматические вагон-весы стали новинкой в мировой металлургической практике почти четверть века назад. Они и теперь единственные в своем роде, потому, наверное, что Гурьянов тоже один.

...Мы расстаемся у той же двери листового железа. Гурьянов заметно погрузнел. Он улыбается по привычке, но глаза его тусклы. Я невольно вернул его в прошлое, а это не всегда приятно.

Домены каждый день выпивают реки и съедают горы. Кормить и поить их нелегко.

Бывшему начальнику цеха Александру Филипповичу Борисову в идеале этот процесс виделся так: хороший кокс, комкастый агломерат и прочие компоненты, заданные с максимальной точностью. В противном случае все плавки — наполовину от бога. Борисов, отличный специалист своего дела, не утаивал повторять:

— Кокс — наш главный инженер.

Однако проблемы разрешить было непросто. Качество сырья не зависит от доменщиков, для разрешения второй узловой задачи требовались энтузиасты.

В тридцатые и сороковые годы, можно утверждать без оглядки, тон на комбинате задавали доменщики, народ живой, острый и уважающий свое дело самолюбивно. Молодые инженеры носились с великими идеями, кипели в спорах, бесцеремонно, за штаны, стягивали с пьедесталов авторитеты и никого не боялись.

Среди электриков царил тогда инженер Федор Иванов, москвич, изобретатель в самом высоком смысле слова, яркий и до застенчивости скромный человек. Возле

него всегда крутилась молодежь, в том числе и комсомолец Вася Гурьянов, удаляя голову.

Иванов, к сожалению, рано ушел из жизни, сгорел от внутреннего огня, которого имел в избытке. На характер не хватило сил. Гурьянов как-то незаметно принял эстафету из охолодевших рук своего учителя.

Началось, как часто случается, с малого, потом уже и выковался стратегический замысел — автоматизировать всю загрузку печей.

В подбункерном помещении работали машинисты-операторы, нажимали рычаги. Могли полтонны лишних «накинуть», могли тонну недодать. Печи лихорадило, и все мудрые выкладки технологов стреляли мимо цели.

После долгих поисков Василий Гурьянов «со товарищи» смонтировали электрическую часть на системе загрузки кокса, поставили автоматику, в один прекрасный день, благословясь, включили рубильник и... скип сплюснулся в гармошку. Железо стонало, гнулось и сыпалось сверху, как трухлявая щепка. И начальство, пожалуй, впервые навело на группу электриков стволы тяжелой артиллерии.

Если бы не Иван Федорович Тевосян, если бы не Александр Филиппович Борисов, тем бы все и кончилось.

Гурьянов помнит, что в тот день утром, когда еще не рассеялся туман и мокрый асфальт напоминал тиховодье, он сорвал у первой проходной вездесущий цветок мать-и-мачехи. Цветок был холодный и с легким запахом тления. Несколько часов спустя Гурьянов врубил ток, и лица многих сразу будто обметало пеплом. Механики ринулись устранять аварию. Гурьянов остался думать, как и почему.

По существу, сразу стало ясно, что механическая часть устройств загрузки и подачи кокса не приемлет автоматику. На корову можно натянуть седло, но далеко на корове не угадцуеться.

Гурьянов вытащил из кармана цветок мать-и-мачехи, бросил его на пропыленный стол.

«Эта песня без конца, начинай сначала!».

Появились, как и надо было ждать, непримиримые противники. Одни давили техническими выкладками, другие суету и страсти вокруг автоматизации считали пустыми, по принципу «этого не может быть, потому что не может быть вообще».

Главный энергетик комбината Федор Семенович Дульнев манил Гурьянова куда-нибудь в уголок и доверительно вел речь в одном направлении:

— Ты вот что... Запретить я тебе не могу, не в моей, понимаешь, власти, но откажись ты от затеи своей! Парень ты настырный, но имей смелость — встань и скажи: не потянул, товарищи, грамотешки не хватает. Целые, понимаешь, институты берутся — и где уж нам-то. Так и изложи, тебя поймут.

— Что же о нас люди подумают, Федор Семенович? Просвистели, мол, на всю степь, а пригнали драную козу. Не отступлю!

Дульнев шумно дышал и поворачивался к Гурьянову спиной, он считал, что старшего электрика доменного цеха просто заносит.

— За облака лезешь, Гурьянов, а крыльев нет.

Механик Андрей Васильевич Амелин (он теперь на пенсии) при встречах издали машет руками:

— С тебя полагается, Вася! Я ведь из-за тебя надорвался, до сих пор колотье в боку, разъязви его!

Веселый механик Амелин. Но не один он надорвался тогда. По ходу работ было внедрено буквально сотни изобретений, больших и малых, спроектированы десятки принципиально новых устройств и приспособлений.

Спали мало. Смуглое лицо Гурьянова словно закоптелось, он издергался и однажды бегал с молотком за товарищем весьма высокого ранга. (Товарищ — к директору: — Он или я? Директор: — И он, и ты).

Нервы. Эх, нервы!

Автоматическая линия подачи кокса была пущена в самом конце войны на второй домне. Страсти поулеглись до зимы, зимой же начались сбои — весы грешили с лукавым постоянством на целых полтонны: то поубавят порцию, то отвалят с лихвой — берите, дескать, разве жалко!

На помощь великодушно явилась сама Наука, а Наука — она обстоятельна, ничего не выпустила из вида, даже ртуть из датчиков отправила на анализ (не окислилась ли?), но автоматика с прежней методичностью продолжала врать.

Снова косые взгляды, упреки и старая тоска по спокойной жизни.

Электрики трудились, как муравьи, нежно дышали на каждое реле, но тайна сия канула в омут и лежала там на дне до тех пор, пока ют сложной мысль не вернулась к простому. Потом Гурьянов и компания чесали затылки: как же раньше не доперли, будь ты неладна! Оказывается, рычажная система была приварена к бункеру с коксом, зимой металл «садился» и датчики «вело».

После короткой доводки системы доменный цех КМК смог вскоре оздоровить весь технологический процесс выплавки чугуна, что в конечном счете благотворно сказалось на производительности труда.

5

Они стояли на эстакаде.

Сверху было заметно, что деревья вдоль тропинок и заводских дорог окутались нежным зеленым пушком. Трубы темнели потоками воды, вода каплями висела на поручнях эстакады, она скатывалась толчками и, на мгновение вспыхнув белым огнем, падала вниз, рассыпалась тысячами мелких осколков, как стекло.

Гурьянов натянул кепку до самых глаз, чтобы согреться, но кепка не грела.

Гурьянов догадался, почему они одни, и чувствовал на душе смутную тяжесть.

— Прости ты меня, Вася, — сказал бригадир Николай Венедиктович Быстров, правая рука, рыцарь без страха и упрека, простой и безотказный парень.

— За что прощать тебя?

— Устал я, Вася, не могу больше!

«И я устал».

— У меня семья. Сутками глаз домой не кажу. Тебе лишь бы наработаться, а у меня — семья.

«И у меня семья».

— Сплю плохо. Война была, все отдавал, сам знаешь...

— Знаю, отдавал.

— Теперь уволь ты меня, Вася!

«А кто меня уволит? Меня никто не уволит».

— Ты, Вася, из другого теста сделан, что ли?

Где-то, шелестя, сорвалась сосулина и раскололась на путях. Гурьянов подумал некстати, что Быстров мог бы изображать для детишек Деда-Мороза. И примириться ему лишь самую малость: нос картофелиной, брови мохнатые и добрые, глаза под надбровьями глубоки и тоже добры. Бороду вот только прицепить. Из пакли,

— Я понимаю, Николай...

— Прости, Вася.

— А, ничего...

Бригадир пошел вразвалку, кованые его сапоги стучали по железу громко и долго.

Гурьянов, спотыкаясь, побрел к себе в машинный зал. Ему бы привыкнуть к потерям, да не мог он привыкнуть. Одни покидали его со смятенной совестью, другие — с облегченным вздохом. Маленькая группа Гурьянова за десять лет менялась целиком раз пять или шесть. Это были в основном хорошие ребята, они честно собирались миновать финишную прямую плечом к плечу, но прямая отодвигалась дальше и дальше.

Гурьянов утвердил свой авторитет незаурядного изобретателя, нажил солидных врагов и на том не остановился — теперь он хотел автоматизировать загрузку всех компонентов сырья, свести систему воедино с простым и максимально рациональным управлением. Если кокс уже хлопот не доставлял, то прочие составляющие по-прежнему развешивали вручную: катались на тележке в подбункерном помещении оператор с помощником и собирали груз. Точность — плюс-минус лапоть.

Не вырисовывался принцип работы вагон-весов. Изящные решения по мелочам накапливались, но главное ускользало. Помог, как всегда, Господин случай.

Как-то вечером Гурьянов толкнулся в очередь за прибами: «выбросили» маринованные опята в банках — продукт редкий и на любителя. В очереди румянолицый старичок при тонких очках, типичный «осколок», витийствовал о Питере старых добрых времен, о лавке некоего достославного купца, промышлявшего исключительно соленьями. И чего только в той лавке не водилось! Товар, заметьте себе, в лучшем виде. Пробовать приказчик давал специальной вилочкой литого серебра. Удивительно, куда все подевалось: и опята, последние грибы, редкость, заметьте.

Напротив толстая продавщица отпускала девочке перловую крупу — зачерпнет совочком из ящика под прилавком и сып-сып в бумажный кулек. Стрелка на весах вздрагивает и ползет вверх. Сып-сып. Как просто! Это же импульсный режим!

Опять Гурьянову не досталось — последнюю банку взял старик в дворянских очках и понес ее с замлевающим лицом, как мину с часовым механизмом. Понес при полной и осуждающей тишине. Гурьянов, улыбаясь, взял пол-литра с красной головкой под названием «сучок». Алкоголь потоньше в лавке отсутствовал.

Эврика!

Правда, один газетчик оснастил эту сцену более колоритными деталями: был Гурьянов на охоте, нацелил ружье куда следует и тут же забыл про глухаря, вытащил из патрона кусок пыжа и стал, осененный, рисовать на пыже схему. Глухарь поскучал и улетел, зато из кустов близехонько вылез пожилой медведь весь в репьях и этак аккуратно стащил мыслителя с пенька: ты, мол, еще при силе и стоймя схему набросашь, я же шибко намутился. Посижу. Гурьянов, будто застеснявшись, сказал рассеянно, как старушке в трамвае:

— Да, да, садитесь. Я несколько забылся.

Статью автор показал директору комбината Роману Васильевичу Белану. Он смеялся до икоты, но сцену вычеркнул:

- Вы Гурьянова не знаете, он не рассеянный, он бы стрелял.
- Так ружье-то он бросил!
- Сучком бы отбил. Или убежал бы. Он здорово бегает.

6

Когда Василий Григорьевич Гурьянов покидал насовсем доменный цех, он унес из своей конторки два мешка писем. В проходной его задержала молодуха в черной шинели и старинным наганом в кобуре, ее шокировала наглость старшего электрика («еще и зубы скалит!»), она спросила «наверху» по телефону санкцию на задержание. Губы бойца заводской охраны затряслись от обиды, когда сверху приказали извиниться и с миром отпустить.

Письма в мешках были в общем-то одного направления: срочно высылайте чертежи. Журналы требовали статей к указанному сроку, научно-исследовательские институты сообщали, что поиски и блестящие решения кузнечных доменщиков вполне тянут на докторскую степень. Пионеры приглашали на слет и советовали заранее продумать по пунктам героическую биографию. Ребятишки были уверены, что Гурьянов брал Зимний и бухал из пушек «Авроры».

Письма теперь растеряны и розданы — Гурьянов не из тех, кто смакует прошлое, небрежение его к собственному «я» вызывает иногда во мне протест, так сказать, чисто гражданского порядка. Но натуру не переделаешь, то — выше всяких сил. Из двух мешков корреспонденции на мою долю досталась хилая канцелярская папка. На ней я с некоторой даже торжественностью вывел красным карандашом «Гурьянов». Надеялся не мытьем, так катаньем вырвать остатки. Гурьянов же, подзреваю, забывал обо мне и о своих вежливых посулах отыскать что-нибудь дома, как только я закрывал с обратной стороны дверь его кабинета. Он не искал, и осталось в моей папке несколько измятых и нелюбопытных бумажек. Лишь одно письмо меня заинтересовало.

Константин Климентьевич Бобошко из Ростова готовил книгу (может, она уже готова?) «Почему так мало эдисонов?» и прислал Гурьянову анкету, на которую, конечно же, не получил ответа.

Так почему же мало эдисонов?

Один теперь в поле не воин? Отчасти и так. Но лишь отчасти.

Герой моего очерка — человек незаурядный. Одного же таланта для проблем глобального масштаба, как ни крути, мало. Что же требуется еще?

— Чувство ответственности, — твердо сказал мне Гурьянов, — стоит знать, что в определенной ситуации довести начатое до конца можешь ты, и никто больше. Вот, допустим, роман, выношенный тобой, дядя за тебя напишет? Ты его, допустим, попросишь: устал, возьмишь, ради бога! Он написал, да не так, как ты хотел, а? Ты иногда остаешься один лицом к обществу. У тебя, конечно, есть верные друзья, но совесть и долг не разделишь по ровну, у каждого — своя ноша.

Для иллюстрации Гурьянов вспомнил случай не столь уже далекой давности.

Война. Сталинград. Паулюс еще не окружен со своими дивизиями, немцы у самой Волги.

Все для фронта, все для победы!

Обстановка сложная, суровая. Гурьянов вконец издергался и почернел, как голешка. Сил больше не оставалось, и вызревало решение эксперименты оставить

на потом, до победы и лучших дней. Он понимал: скептики по-своему правы — сейчас нужен чугу́н, много чугу́на. Сверхплановые тонны. Два плана, три, четыре, и все будет мало. Но чудес не выпадает, даже если сутками не спать.

Когда стало уже совсем немощно, Гурьянов попросил отгул за счет сверхурочных, чтобы сходить в тайгу развеяться и все как следует обдумать.

Заводские охотники приловчились на свалке собирать боевые патроны. После Московской операции в Новокузнецк потянулись эшелоны с горелой и мятой военной техникой, предназначенной для переплавки. Среди гор лома раскапывалось всякое добро, вплоть до женского белья, уворованного арийцами.

Бездымный порох боевых патронов в смеси с обыкновенным нес дробь дальше и ложилась она на цель много кучней.

Патроны не попадались, Гурьянов нашел алюминиевую кружку отечественного производства, простроченную пулями. Одиннадцать дырок. Не много ли для одного? Гурьянов присел на крыло черного «оппеля» со злой обидой: зачем одиннадцать пуль? Кружку он спрятал за пазуху и отнес домой. А через день он размашисто вышагивал напрямки по пустым полям — через березовые колки и неширокие речки. Было неласковое ветреное предзимье, тревожно кричали вороны.

На взгорке неподалеку от деревни Пушкино Гурьянов повстречал странную процессию: вдоль елового леса широким веером, понурясь, брели лошади, впереди, с поводьями через члечо, как бурлак на берегу, тащился подросток во всем отцовском: шапка до носа, полушубок до пят, на ногах богатырские валенки. Пацан тянул поводья, связанные узлом, и солено ругался.

— Ты чего это так? — спросил Гурьянов. — Нельзя ругаться, мал еще.

Валенки подростка оставляли на снегу ломкие следы. Лошади не торопились — каждая держалась особо и тянула в сторону.

— Разбредаются, видишь! — со слезой крикнул мужичок и сдвинул на затылок шапку. — До утра не управлюсь, дяденька! — он остановился передохнуть и ладошкой потрогал ложе ружья. — Знатная вещь. Убил кого? Я вона давеча рябчиков заметил, страсть как много.

— Куда путь держишь?

— В город, до военкомата. Кони мобилизованные.

— А взрослые что?

— Бабы плачут — не осталось тягла в колхозе, хоть на себе, значит, плуг таскай!

Парень был малость срыжа, голубоглазый, на щеках его круглыми пятнами лежал румянец.

«Картошки ест досыта», — с облегчением подумал Гурьянов.

— Курить имеешь, дяденька?

— Не курю. — В кармане Гурьянова лежала пачка «Беломора», но жаль ему было этих румяных щек. — Рано курить тебе.

— Ты почто не в армии? Или больной?

— Да, больной. Веревка есть у тебя?

— Припасена.

— Давай веревку.

Гурьянов подул на руки и принялся вязать лошадей за хвосты, чтобы не растягивались.

— От, правильно! — обрадовался парнишка, — теперь я их обратаю!

— Как зовут тебя?

— Васькой.

— Тетка, значит. Ступай, тетка.

Васька почмокал губами, пикнул, строжась, и тронулся с богом.

Гурьянов слышал сквозь снежную сечку постук копыт о мерзлую землю. Он стоял, опершись на ружье, и плакал.

— Совесть тогда и велела мне: слабость — не для тебя!

В праздники и на банкетах его просят:

— Давай к нам, Григорыч! Ты, брат, хорошо смеешься.

Смех его, действительно, заразителен, он не сжимник, он любит жизнь, и здоровая его натура помогает ему стойко переносить невзгоды.

Гурьянов, конечно, фанатик, но не классического стиля, не дистрофичный мыслитель, неудобный для близких. Круг его интересов необычайно широк, я убежден: он не будет глядеться казанской сиротой и среди завязых гуманитариев с университетским образованием. С бывшим начальником доменного цеха Александром Филипповичем Борисовым он спорил о Гельвеции, писал и печатал очерки о стиле Джека Лондона, бродил по Горной Шории, в парижском отеле «Лютетия» проникся суровой неприязнью к толстосумам... Он с детской непосредственностью любит чудеса. Есть у него знакомый мудрец не от мира сего. Живет мудрец в тайге и, кроме своих научных изысканий, знаменит и славен тем, что однажды победил свою черную корову, спасая ее от жары и оводов. Под началом Гурьянова работает слесарь М., который, захмелевши, звонит в любой час по телефону и навешивает пыжиковую шапку, каких нет в городе. Отдает за сходную цену или, широкая душа, просто дарит. Вот уже лет пять дарит. Гурьянов возится с ним и прощает прочие жеребьячи шутки:

— Заносит парня. Не пнать же, семья у него.

После войны Василий Григорьевич получил диплом техника. Он представил экзаменационной комиссии проект, в котором по некоторым аспектам доменного производства опередил проектировщиков на два десятилетия.

Я, кажется, не ответил с полной ясностью, почему все-таки так мало эдисонов? Для высоких нагрузок, кроме таланта, нужна культура и особая, большевистская, душевная емкость. Эти качества присущи моему герою и потому он изобретатель, каких мало. И будет мало всегда.

7

Я не задаюсь целью рассказывать подробно о том, чем живет Гурьянов сегодня, иначе мой очерк не имел бы конца.

К пятидесятым годам кузнечане автоматизировали подачу сырья полностью сперва на двух доменах, после — на трех остальных. Успех сибиряков отметило специальным приказом Министерство черной металлургии.

...«С введением в эксплуатацию промежуточных бункеров, — сказано в приказе, — ...производительность вагон-весов увеличилась в два раза». И еще один момент важен: «...Впервые в металлургической практике... вагон-весы управляются автоматически». Впервые на земном шаре!

Руководитель работ Василий Григорьевич Гурьянов в списке отмеченных был назван первым.

Мало кому известно, что Гурьянов успевал заниматься усовершенствованием конструкции леточной пушки, проектировал вибратор для прамбовки канавной массы. И уж наверняка мало кто знает, что два его авторских свидетельства хранятся в Музее Революции.

— Правда ли?

— Брали, верно. Но я не один там, учи.

В 1964 году Василий Григорьевич принял новый цех — экспериментальный. Новый цех нацеливался на малую механизацию.

Если еще не так давно металлургические заводы и, в частности, Кузнецкий комбинат, как-то оставались на высоте за счет постоянного притока неквалифицированной рабочей силы, то теперь положение резко изменилось. Когда-то на КМК устроиться было не так-то просто. Новичку, как правило, ставилось условие: сперва помети улицы или, допустим, испробуй себя на погрузке-выгрузке, потом уже нацеливайся на квалификацию и посложней. Сегодня новички — молодежь с аттестатом зрелости, к тому же на правом берегу Томи есть Запсиб, а это вам не артель, людей там тоже считают многими тысячами. Спрос велик, и потом еще иррационально да и неправильно вручать новобранцу метлу или лопату. Вот и стала на повестку дня малая механизация.

Директор комбината Евгений Михайлович Салов часто появляется в маленьком кабинете Гурьянова на верхотуре. Кабинет напоминает капитанский мостик. Там — штурвал, оттуда прокладывается курс.

Директор Салов размахист и колоритен:

— Я тебя не прошу, Гурьянов, делать машину, которая в кассе бы расписывалась за аванс и получку — изобразить подпись напротив суммы труд ручной, но приятный! А вот стрелки чистить или связывать проволокой прокат, таскать кули на горбу — унизительно. Машина же краснеть не умеет, пусть метет и грузит. Ты давай, давай!

Инженеры-проектировщики и рационализаторы бьются над устранением «узких мест» на всех участках сложнейшей и универсальной технологии. Уже высвобождено, по грубым подсчетам, 600—700 человек. Много или мало? Штат среднего завода где-нибудь в тихом городке. Тем не менее, главное впереди. Дело как раз по натуре Василия Григорьевича Гурьянова. Ему пятьдесят девять лет, он бодр и по-прежнему любознателен. Его еще надолго хватит, он еще способен удивить мир и «потрепсти основы».

8

Медленно распахиваются ворота, и внутри корпуса разом бледнеют мотыльковые огни сварки. Прямо на нас из цеха движется крановая платформа, с торца ее, едва не задевая рельсов, свешивается металлический раструб.

Платформа останавливается, инженеры — их человек пять-шесть — с жадным интересом уличных зевак смотрят, как гурьяновские орлы совковыми лопатами валят на рельсы черный заводской снег.

Гурьянов тоже следит за этой немудрой работой, ему, чувствую, тоже хочется взять лопату и сопреться, но, поколебавшись, он уходит к себе надеть пальто. На дворе хоть и весна, ручьи уже шуруют по асфальту, а зябко.

— Кидай больше, — хмуро приказывает самый главный железнодорожник и самый главный заказчик.

Больше, так больше, снегу нынче — завались.

— Хватит, — говорит другой, начальник пониже рангом, и зачем-то снимает шапку.

Хватит, так хватит...

Гурьянов, возвратясь, объясняет мне популярно назначение новой машины:

— На комбинате, не дай соврать, пятьсот железнодорожных стрелок или больше, их надо чистить. Летом еще туда-сюда, а зимой? Плохо зимой — заносы, ветры, брат ты мой, сам знаешь. Вот и создали мы это чудо. Проще пареной репы в общем-то. Но зачем нам сложная машина? Незачем. Будет бегать по путям мотовоз и дуть как следует.

— Начинай!

На платформе низко загудел вентилятор, закрытый круглым сварным панцирем, возле моих ног зашевелился ком снега величиной с арбуз средних размеров, вскинулся и припустил по шпалам. Он бежал далеко, пока не рассыпался в прах. И сугроба как не бывало. Кажется, даже рельсы очистились и тихо зазвенели солнцем.

— Айда, — позвал меня Гурьянов, — сейчас спор затеется, и не будет ему конца.

Железнодорожники молча наступали на высокого человека в лохматой шапке, человек, сам того не замечая, пятился от них на бугорок.

— О чем спор будет?

— Им компрессор нужен, не вентилятор. А нет у нас компрессоров.

— Они правы?

— По-своему — да.

Гурьянов велел загнать платформу на место и закрыть ворота. Он, применяя высокий штиль, совсем не испытывал священного трепета. И понятно: в году-то десятки раз начальнику экспериментального цеха по долгу службы доводится бывать на испытаниях новой техники, если через его руки проходят сотни изобретений. Сотни? Не преувеличил ли я? Если и преувеличил, то в пределах допустимого. Такова работа, ведь цех делает новую технику.

И он снова провожает меня до дверей цеха. И снова речь о своей молодежи.

— Они жизнь наперед раскинули: один наметил сделаться актером (обязательно знаменитым!); вторая стишки кропает в тетрадку, третий на инженера учится. Правильно все. Но кто-то и у станка останется, затянется работа, честолюбие проклюнется — захочется стать первым. Анекдот старый слышал? Приехал портной в чужой город и загорюнился: кругом вывески «лучший дамский портной», «лучший портной», ну и так далее. Тогда он прибил свою вывеску — «лучший портной на этой улице». Я хочу, чтобы и мои ребята имели право на такую вывеску. Нет ничего ценнее на белом свете, чем дело по сердцу. Это ведь и есть счастье.

Что же, он прав, Василий Григорьевич Гурьянов, непревзойденный портной на своей улице.



Друг мой давний,
гость мой редкий!
Прилети, мой дальний гость.
Без тебя из табуретки
Кругло вырос лысый гвоздь.

И покуда с новостями
Почты нет из Тяжина,
Здесь грибами, как гвоздями,
К пням прибита тишина.

Мне восемнадцать. Тропы круты.
Топографический отряд
Мне заменяет институты.
Подошвы к вечеру горят.
Держа развернутую карту,
Мой шеф, наставник и кумир
Василь Матвееч, Вася Карпов
Следит за мною в нивелир.
Мой труд не прост, не популярен,
Я профиль вешками вешу.
И вверж ногами в окуляре
По воле оптики вишу.

* * *

15

Владимир Куропатов



РАССКАЗЫ

НА ТЕЛЕГЕ

Мы представляем молодого прозаика Владимира Куропатова. Он родился и вырос в поселке Кузедеево, был рабочим шахты «Капитальная-1» в Осинниках. Закончил Осинниковский горный техникум, преподавал в горнопромышленном училище, редактировал шахтовую многотиражку. Получив заочно высшее гуманитарное образование, Владимир Куропатов с 1969 года работает в газете «Комсомолец Кузбасса», сейчас заведует отделом писем.

Владимир Куропатов пишет рассказы. В их основу легли милые его сердцу картины сельской жизни. Точные характеристики, тонко подмеченные детали, естественная интонация отличают его произведения. Владимир очень ответственно отнесся к первой публикации, не спешил с нею. Мы надеемся, что рассказы Владимира Куропатова привлекут внимание читателей.

Теплым июльским днем я шагаю по наезженной проселочной дороге. Справа стелется овсяное поле, слева — пшеничное. Впереди, километра за четыре, виднеется березовая рощица, а за ней, должно быть, и деревня, куда мне надо. И все эти четыре километра справа будет овсяное поле, слева — пшеничное. Ни сколько-нибудь заметной ложбинки, ни бугорка. Равнинное степное однообразие.

Степь как и море. Ее ширь вызывает гаммы различных чувств, очищает душу от всего суетного. Кругом тихо, ни звука, ни шороха. Приятно и легко, во всем теле чувствуется раскованность, хочется вот так шагать и шагать все время и слушать тишину. И пусть бы этим четверем километрам не было конца...

Но вот позади послышалось легкое тарахтенье и побрякивание. Овернулся — догоняет лошадь, запряженная в допотопную разбитую тележку. На телеге — старикашка, тоже весь какой-то допотопный, маленький, тщедушный. О таких го-

ворят: муха крылом перешибет. Скучная белая бороденка. Нос похож на стручок перца: острый и загнутый кверху, с конца красный. Поравнявшись со мной, старик натягивает вожжи.

— Тпру-у-у, Клашка. Я, мил человек, завсегда говорю: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Садись-ка, не знаю, как звать-величать,—голос у старика слабый и с хрипотцой — не то от табака, не то простуженный.

И не хочется мне вовсе ехать, да как откажешься — неловко, человек ведь от души, уважить хочет. Взобрался на телегу, сел рядом со стариком на охапку травы. Дед дернул вожжой:

— Полегоньку, Клашка, но-о-о... Чай, из города будешь?

— Оттуда, отец.

— А то еще откудова ж. По наряду вижу. Ишь, как вырядился. Наш-то брат, деревенский, в такой путь белую рубаху не наденет. Пылица-то вон какая. Живо как анчутка сделаешься... А что в городу-то в многоэтажном доме живешь?

— В многоэтажном, батя.

— В нашей деревне тоже начали класть один каменный, в два этажа. Хэх, едрит твою в кочерыжку! — старик жиденько засмеялся и завертел головой. — Председатель это наш, Петро Иванович, молодой, вот как ты же, грамотный, ничего так мужик, добер и вроде хозяин разумный, а все с блажью маленько. Однаво говорит это мне: «Вот построим, Митрич, дом, все удобства в нем будут, и тебя со старухой поселим. Люди вы,—говорит,—заслуженные, доживай свой век без всяких хлопот». А я ему, как думал, так и резанул по прямой, без утайки: «За заботу, Петро Иванович, очень даже спасибо, да только не надо мне твоих удобств. Послушаешь о них — вроде рай, а присмотришься, то, может, еще хуже преисподней». А он мне... Подожди-ка, как это он мне сказал-то... А! «Концентратор ты», — говорит.

— Консерватор, наверное.

— А шут вас знает, как там по-вашему. Только опять же дядя Митрий и нехорошим остался. Во как... Но-о, Клашка... А, чай, тряско, не привык на таком-то транспорте ездить?

— Теперь уж надо сказать — отвык.

— Никак в деревне рос? — старик с любопытством осмотрел меня.

— В деревне.

— Обратно-то не манит?

— Да как вам сказать...

— А я вот всю жизнь, почитай, уж семьдесят годов, прожил в деревне. И, должен тебе сказать, никакого города мне не надо. Задаром давай — не хочу. Это теперь молодые, как чуть что, школу кончили и — в город. А что там за сласть такая? Простору никакого, а людей тьма-тьмущая. И все куда-то торопятся, суетятся, друг дружку толкают. Боже ж ты мой, что это за жизнь такая? То ли дело у нас — воля! — старик широко повел плечами. — Да и вот ведь еще петрушка какая: вроде оно и нет ничего такого особенного, ну степь и степь, а душа радуется. Шут ее знает — не пойму. Это когда я помоложе был, так, бывало, вот здесь едучи, все песни певал. Песня, она

ведь сама из тебя прет, едри ее в кочерыжку. Едешь, поешь сам себе, и никто тебя не слышит. И хорошо, ей-богу!

Старик помолчал немного, дернул за вожжи и заговорил снова:

— Если правду сказать, то оно, конечно, и в городе интересу много. Ето раньше я, когда помоложе был, на базар ездил. Распродамса весь, выпью чекушку для супрева и побреду по улицам постройками любоваться. Больно завидные попадаются. Иной раз глаза на что-нибудь выпялишь, споткнешься, да носом-то об дорогу. Ей-богу, не раз было... Однако сам-то ты в городе давно живешь?

— Давно.

— Тогда ты мне скажи вот что,— оживился вдруг дед.— Значит, как с поезда слезешь, на самую главную улицу выйдешь, немного прой-дешь, по правую руку есть клуб ли какой, ли что, возле него еще вода вверх хлещет...

— Драмтеатр, что ли?

— Во-во, театр. Так вот на самом верху его баба каменная стоит и что-ет такое в руках держит, не то птицу, не то еще что. Глазами-то я всегда был слаб. Так что же там у нее, а?

На драмтеатре, кажется, и в самом деле есть какая-то статуя, но мужская или женская, я не помнил, почему-то не обращал внимания, и уж тем более не знал, что там у нее в руках. Поэтому вместо ответа на вопрос деда я только пожал плечами. Старик как-то подозрительно, с иронической улыбочкой взглянул на меня, тряхнул головой и махнул кнутом:

— Шевелись, Клашка, но-о-о.

Дальше ехали молча. Старика, видно, укачало и клонило в сон. Он размяк, стал вялый, как капустный лист в знойный день. А я, испытывая неловкость и досаду на себя, напрасно силился вспомнить, вернее, угадать, какая же фигура стоит на драмтеатре и что создатели вложили ей в руки...

Между тем, хлеба кончились. Мы въехали в березовую рощу. Потянуло свежестью и прохладой. От того, что траву между деревьями уже выкосили, роща напоминала чистую, с душой прибранную гор-ницу — так в ней было светло и празднично... Березы вольно разбре-лись по широкой поляне. Те, что стояли у дороги, почтительно кланя-лись нам, а легонький ветерок нежно расчесывал им косы, другие во-дили в сторонке хоровод, а несколько молоденьких резвых проказниц сбежались в стайку, склонились друг к дружке, перешептывались и смеялись, наверное, над неуклюжестью свежесметанного стога, что угрюмо стоял неподалеку, навалившись на один бок. При виде всего этого зашевелилось во мне что-то уснувшее много лет назад, разбе-редило душу и запросилось наружу.

— Чудно,— сказал я вслух.

— А? — очнулся старик.

— Березы, говорю,— одно загляденье.

Старик посмотрел сонно и небрежно на рощу, зевнул сладко, поче-сал кнутовищем спину.

— Ет верно, хороши. Всяк раз, как еду туто-ка, все думаю: ет ведь

сколько же можно было бы веников напасти, знай парься всю зиму в баньке. Так ведь не велит Петро Иванович-то. Другие ничего — молчали, а этот не велит. Говорит, красоту беречь надо. Нет, хороший он человек, прамотный и все такое, но это разве не блажь? Красота! Да я, едрит твою в кочерыжку, уже семьдесят годов мимо них езжу, смотрю и никакой такой красоты в них не примечал. Нет, говорит, езд и любуйся в свое удовольствие, а трогать не тронь. А у меня, старика, может, в жизни и осталось-то только одно удовольствие в баньке попариться, а опосля чекушку выпить. Нет, не могу я разгадать вас, ученых... Но-о-о, Клашка, скоро уж...

ПОЖИЛИ-ПОРАБОТАЛИ

Отец позвал меня, и я приехал.

Он сидел, сгорбившись, на лавке у крыльца. На нем были чесанки с калошами, фуфайка, лопоухая шапка. В руках — мое старое удилище с привязанной на конце зеленой тряпкой. Когда какая-нибудь хитрая курица незаметно проникала с улицы во двор и осторожно прокрадывалась к забору, чтобы перелететь в огород, отец поднимал удилище:

— Кы-ш-ш-ш! Будь ты проклята, — он выговаривал это раздраженно и зло. И вообще показался мне желчным. Дышал тяжело, резкими толчками, а внутри у него свистело и булькало.

— Что-то я заболел, сынок... Совсем не могу.

Облокотился на колени и после некоторого молчания спросил уже в который раз:

— На пароме переезжал или на лодке?

— На пароме.

— А я вот с курами воюю. Больше ничего не могу... Пройдусь по двору — и уже пристал. И голова делается как пьяная.

— Опять молчание, потом с грустным вздохом:

— Да. Был конь — изъездился. Слава богу, пожили-поработали. Теперь уж, видно, пора туда, — махнул на гору, где между кустами и березами виднелись кресты. — А мы с матерью решили нынче сено не косить. Телку продадим, немного денег добавим и купим воев во-семь — на корову хватит...

Вечером пришел сосед, Гришка Грошев, мужик молодой и ленивый.

— Ты что ж, дядь Федя, уже который день все куроопасничаешь? На легкий труд перешел, что ли?

— Ага. В симулянты записался. Дай, думаю, напоследок полодырничаю, — скучно отшутился отец.

— Позавидуешь тебе. А тут с колхозного да на свое тащишься. Умашься как бес, ни рук ни ног не чувствуешь.

— Сейчас-то с покоса, что ли?

— Ага. Скопнил, черт ее бей. Завтра метать хочу. Вот за стоговыми вилами к тебе пришел. Дашь?

— Ну, а отчего ж? Бери. Хоть совсем возьми.

— А ты что, косить не собираешься?

Отец махнул слабой рукой:

— Какой уж я косарь. Хватит — покосили. Пусть теперь другие. Я уж и бригадиру сказал, чтоб отдал кому-нибудь покос. Поди уж выкосили, не видал?

— Только что мимо шел. Стоит. Один юстался. А кому он нужен? Нынче все косилками норовят, а на твоём косилку непустишь — кусты. Да и ручей опять же.

— Это верно. Там только руками. Трава-то как?

— Нынче везде буйная, косу, едри ее за ногу, не протянешь. А у тебя низина, так и вовсе выдурила.

— Коси, если хочешь...

— Да ты что, дядя Федя, на кой она мне сплющилась. Тут со своим ухайдакался. Тридцать копен нагреб. Корове с овцой куда еще больше.

— Оно, конечно. Хватит... Вилы-то иди сам возьми в сарае. Они там под самой крышей, найдешь.

Гришка пошел в сарай, вынес стоговой двухрожник.

— Вилы хорошие, ловкие, только, наверно, рожки затупились, так ты их ножиком легонько... — отец зашелся в сухом кашле.

— Ага, заострю. Ну, пока. Завтра надо пораньше встать. Ох, сгори оно огнем, это сено. — Гришка пошел со двора. Когда вышел уже за калитку, отец вдруг окликнул его:

— Григорий.

— Чего?

— Смечешь, так вилы-то принеси. Может, сгодятся еще.

— Ладно, — Гришка повел плечом, что свидетельствовало о непонимании им переменчивости решений моего отца.

Спал я, как всегда, на сеновале. Ранним утром меня разбудили знакомые звуки: так-так-так... Приподнялся, глянул через щель в крыше. Отец, сидя на перевернутой табуретке, отбивал косу, на опраде висела другая. На крыльцо вышла с подойником мать, стала увещевать отца:

— И чего заерепенился. Да ты и до покоса не дойдешь, на полдороге свалишься.

Отец перестал стучать, поднял взъерошенные брови:

— Ты — баба. След, не башка у тебя, а чугунок. Не лезь не в свое корыто. Дои корову да живо готовь завтрак. Ишь, раскудахталась... — и снова застучал.

Я спустился вниз, подошел к отцу.

— Косить, что ли, собрался?

В глазах отца блеснуло что-то отдаленно напоминающее его былую язвительность, но тут же пропало.

— А что сделаешь, сынок,— надо,— сказал он так, будто винился передо мной, и развел руками.

— Мать права, нельзя тебе. Перед людьми неловко будет...

— И ты туда же,— сказал отец раздосадованно и даже притопнул ногой.— Вот мне перед людьми и совестно. Слышал, что вчера Гришка сказал: кругом уже все повыкошено, а наш покос стоит нетронутый. Сроду такого не бывало. Нет, сынок...

— Тогда, может, я один пойду?

— Начнешь там воротить как попало, знаю я тебя.

Я тоже отца знал. Ему перечить, что по лесу с бороной ехать. Уж если что надумал, в жизни не переубедишь, по его будет.

Как ни бодрился отец, как ни старался быть расторопным, а сборы наши затянулись. Позавтракав, отец еще долго пил крутой чай, чтоб не мучила жажда на покосе, потом шарил по всем закуткам, отыскивая бруски, подбирал тесемки, чтоб подвязать жалонки, а там обнаружилось, что топор не наточен, а у одной косы черенок надтреснутый. С горем пополам общими усилиями все разыскали, наточили, наладили и тронулись со двора.

Чтобы отцу было легче идти, всю ношу я взял сам, хотел забрать косу, но он воспротивился:

— Нет, сын,— обычай: косу свою косарь сам несет, иначе что он за косарь?

Мать, провожая нас до калитки, сказала еще раз, так, безо всякой надежды:

— Может, не ходил бы...

— Курей сегодня из сарая не выпускай,— строго распорядился отец не оборачиваясь.

Небо смотрело на землю хмуро и скучно. Росы не было. Значит, быть дождю. До покоса километра два с половиной, дорога нетрудная, все по ровному. Я старался идти помедленнее, чтобы отец поспевал за мной. Шел он, опираясь на палочку, хоть и шатко, но уверенно. Так потихоньку и дошли до старой березы, от которой начинался наш покос и где мы всегда устраивали балаган.

— Хэх! И правда, трава богатая,— оживленно заозирался отец,— и зеленая еще, что лук. Ну, как ты ее бросишь? Грех!

Я еще не докурил папиросу, а отец уже скинул пиджак и по обыкновению остался в исподней рубашке навыпуск. Принялся тщательно точить косу, наточив, сунул брусок в карман штанов. Наметил глазами, как ляжет первый прокос, по привычке плюнул в ладонь:

— Ну, господи, благослови...

Взмахнул косой. Стебли трав, подрезанные у самого основания, вздрогнули, как от резкой боли, упали на лезвие косы и тут же, соб-

ранные в пучок, были отброшены влево. Другой взмах косы, шире и свободнее, и второй пучок травы веером лег впереди первого.

— Тив... тив... тив... — тоненько пела коса. Пройдя метра два, отец остановился. Вид его был ошалело-ликующий.

— От трава! Господи!.. Ну, сын, давай, следом за мной. Коса у тебя хорошая, только больше на пятку нажимай.

— Тив... тив... — снова засвистела отцова коса.

— Жух... жух... — заворила моя: звук косы в руках самого косаря всегда кажется иным, грубым и жестким. После нескольких взмахов у меня с непривычки сбилось дыхание, разрыв между мной и отцом стал увеличиваться. А отец шел осанисто и легко. Так легко, что, казалось, совсем не напрягал сил, только поддерживал под нужным углом черенок косы, а она уже сама отлетала назад, ныряла в траву, срезала стебли, укладывала их в валок, и пока отец делал маленький тусиный шажок, опять отлетала назад. Между косарем и косой установилась такая согласованность, будто были они звеньями одного хорошо отлаженного механизма.

Когда отец довел первый прокос до конца, стал накрапывать дождик. Отец посмотрел на небо. Затяжной и мелкий. Это ничего. Это даже лучше. Вскинул косу на плечо, поднялся наверх и, не останавливаясь, поспешно начал второй прокос. Но ширина его с каждым взмахом становилась заметно уже, а свист косы терял свою пронзительность, делался все глуше и глуше. Это напоминало останавливающийся маятник часов, у которых кончался завод.

— Пап, отдохнул бы

Но отец, отрешившись от всего, старался войти в устойчивый ритм. Однако коса уже не слушалась его, запутывалась в траве и не срезала ее, а лишь рвала. Я бросил свою косу, подошел к отцу.

— Остановись, пап...

Он не слышал меня, собрал весь остаток сил, чтобы наконец завести косу как надо, на всю ширь, но покачнувшись, потерял равновесие и бессильно, как будто сам подкошенный, повалился на бок и упал на влажный от дождя валок. Еще ничего не поняв, он в недоумении смотрел перед собой, сжимая в руке черенок косы.

Я поднял его, отвел под березу, налил в кружку молока. Но отец отвел мою руку в сторону. Он недвижно и немоем смотрел на свой последний прокос. По впалым щекам его катились не то слезы, не то капли дождя.

А мне вдруг вспомнился, даже не вспомнился, а просто мелькнул в сознании совсем уже забытый случай. Давно, когда я еще не учился в школе, у нас была овца Дашка. Перед весной Дашка заболела и стала чахнуть. Как только-только сошел снег и из земли пробились первые бледно-зеленые иголки травы, весь скот выгнали в поле. В загоне осталась одна Дашка, она уже не могла подняться и сиротливо лежала в углу. Отец, как ребенка, взял ее на руки, отнес в поле и положил на обогретый солнцем холмик. Учув под собой запах свежей травы, Дашка заволновалась, стала шарить по земле губами. Наткнувшись на молоденькие стебельки, сдирывала их и жадно-жадно жевала. А меж-

ду тем, силы ее уже совсем оставляли. Она дотянулась до бархатистого тысячелистника, захватила его зубами, но оторвать уже не смогла, так и затихла с оскаленными зубами, зажавшими травинку. Мне стало жалко Дашку, я заплакал. «Чудной,— отец погладил меня по голове,— ей все равно было помирать, так уж лучше здесь, чем в загоне. Для нее это самая лучшая смерть»...

— Все, сын,— сказал отец с безутешной горечью,— был конь, да извездился.

Теперь было явно видно: по его щекам катились слезы.

Внизу по дороге ехал на телеге Гришка Грошев. Начавшийся дождь не дал сметать ему стог. Домой мы уехали вместе с ним.

Через неделю отец умер. Ему было семьдесят восемь.

У МАГАЗИНА

Петька Ерофеев сидит на ящике с хлебом и, понутив голову, дремлет. Камбала, старая кобыла с выгнутой коромыслом спиной и большим, как пивная бочка, брюхом, сама свернет с дороги к магазину и остановится у окошечка. От толчка Петька проснется, слезет на землю, потянется, как кот, зевнет и скажет лениво в окошечко:

— Примай, Груня, выгружаюсь...

Петька неторопливый, как утренний моросящий дождичек, и выгружаться он будет долго. Это все знают и не спешат выстраиваться в очередь. Ребятишки гоняют по лужайке мяч или играют в чику, молодые бабы, собравшись стайкой возле магазинного крыльца, лузгают семечки и сплетничают. У пожилых людей и стариков своя компания. Они сидят кружком, кто на завалянке, кто на ящике из-под спичек, кто на перевернутой бочке и ведут свои извечные разговоры. Сначала, как водится, о погоде, об урожае да сенокосе, потом каждый расскажет о своих недугах и напастях. Так потихоньку да полегоньку от одного к другому и подберутся к своей излюбленной теме — о «нонешней», непутевой да незадачливой молодежи. Сперва засудачат в общем, обо всех сразу:

— Ведь оно как пошло: ты им замеси да и в рот положи.

— В лесу дров не сыщут.

— Все норовят, чтоб поменьше сделать да побольше погулять.

— Чуть к вечеру — ты их ни в хомут, ни в шлейку не запряжешь: на танцы да в кино бегут.

— Стариков ни в трош не ставят — все сами знают: грамотные сплошь.

— Грамотные, а дури-то...

— От безделья дурь и наживается.

— И как жить-то будут, когда старики перемрут.

— Не-е-е-т, в наши-то годы не так было...

И дальше в том же духе. Пока кто-нибудь, к примеру, Монашиха не вздохнет:

— Как-нибудь своего Василия довести бы до ума, а там уж и...

И сразу же разговор принимает иной оборот.

— Служит? Васька-то?

— Служит. К осени в отпуск сулится.

— Однако как ребетня-то растет! Давно ли, хоть и Васька твой, по чужим огородам шастал, а уже солдат.

Монашиха обиженно складывает губы трубочкой и учтиво, с достоинством:

— Другие-то, может, и шастали, а на моего Василия, слава богу, не жаловались. Своего хватало. Да и не так воспитывался. Бывало, чуть что набедокурит, я уж этого так не оставляю. Голову промеж колен да березовой кашей накормлю досыта. Завсегда меня слушался и людей почитал. А теперь вот и его уже почитают. На День Победы командир части письмо прислал мне и пишет: мол, спасибо вам, Наталья Степановна, за то, что такого сына воспитали, отличный он, говорит, солдат, ставим его другим в пример. Непутевый какой был бы, так, небось, не написали бы...

— Доброму Савве добрая и слава. А о плохом что напишешь, разве только плохое,—подтверждает Иван Лукич Карамышев, небольшой кругленький старичок.—Мария, дочь-то наша, в прошлый раз приезжала, так рассказывала: говорит, придет родитель хорошего ученика, с ним и поговорить любо, потому как все хорошо. А если, говорит, какого колашника мать вызовешь, не знаешь, с какого боку и начать: все кругом у него плохо...

— Еще не вышла Мария замуж-то?

— Какой там замуж. И слушать не хочет. Это, говорит, успеется, а мне еще учиться надо.

— Куда же еще-то? Десятилетку закончила, институт.

— А куда-то там хочет поступать. Оттуда уж профессорами выйдут. Мы со старухой говорим: раз есть охота, пушай учиться. За ученого, говорят, двух неученых дают...

— Это только так говорят да сулят,—машет рукой дед Ступеньков, колхозный сторож.—Взять хотя бы наш колхоз. Ученых-то много, а на технике работать некому. В посевную или уборочную председатель тебе пять ученых и себя впридачу отдаст, только бы комбайн не стоял. Во всех газетах, по всем радидам и телевизерам так и говорят: механизатор — главная, первейшая фигура. Вот вы своих детей в город поотправляли, а в моем доме две такие фигуры — сын да внук. Во как! Им почет и уважение. Хвалиться не буду, а что есть — скажу. Мишке мотоцикл без очереди дали? Дали. Орденом наградили? Наградили. Депутатом избрали. Дома похвальными листами все стены обвешаны. И во всех президиумах сидит, на разные слеты ездит, снова даже в область посылали. А Володька? Внук? Только первый сезон на тракторе, а уже за высокий процент премию дали и всю весну на радиаторе флажок висел. Вот теперь и думай, кто нужней — ученый или механизатор. Те-то, что в шляпах да при галстуках, хлеб не ростят.

Вот так, соседушка,—поворачивается Ступеньков к Михеихе и начинает шарить по карманам, ища кисет.

Соседушка Михеиха принимает это обращение как камушек в свой огород: сын ее, Григорий — главный бухгалтер конторы «Заготзерно». Шляпу он не носит, но при галстукe, это верно. Михеиха задета за живое, но виду не подает, с нарочитым безразличием смеется, запрокинув голову назад и подняв руки, хлопает себя по коленкам.

— А если урожай несусветный будет, то как же вы, неученые, хлеб-то сосчитаете? Небось, с поклоном придете к тем, кто при галстуках. А им сосчитать — что тебе переобуться. Раз, раз костяшки и — готово. — Дальше Михеиха говорит уже серьезно и даже как-то раздумчиво. — Вон его, хлеба-то, в «Заготзерне» какие горы, и все до последнего зернышка сосчитано и записано. Н-е-ет, не так-то оно просто эти горы пересчитать. Другой раз вечером приду к Грише, а он лежит на диване, за голову схватился. Болит, говорит, прямо разламывается. А как годовой отчет начнется, бывает, в конторе и ночует, все какие-то там балансы ищет. А ведь не холостяк. Семья, дети, хозяйство надо вести. Да он у нас расторопный, все успевает. Да еще и к нам прибежит: «Пап, дай чего-нибудь пособию». Н-е-е, Гриша наш завсегда. Без него нам с отцом тяжело было б.

— Так ведь и говорят: хороший сын — костыль на старость лет.

Наступает небольшая пауза и ею хочет воспользоваться бабка Лоскутиха. Лоскутихе лет шестьдесят, но выглядит она совсем убогой старухой. Небольшая, сухонькая, как березовый веничек — голик. Воспаленные красные глаза ее постоянно слезятся. То и дело она прикладывает к ним платок правой рукой, а левая у нее трясется.

— А давеча... я это,—пытается что-то сказать Лоскутиха, но захлебывается словами, шамкает губами, как рыба, вытащенная на берег; хочет продолжить начатое, но у нее никак не получается, да и Кашириха уже опередила ее:

— Будет сегодня автобус, нет ли? Мои молодые в город собрались.

— Покупать чего?

— Ну как же. Деньги-то большие, северные, дак транжирить надо. Говорю, поберегли бы. И так все разодеты-разобуты. Чего еще? А дому вон ремонт нужен. Фундамент бы подвести да крышу починить. А Степка машет рукой: «Хватит, мать, и на фундамент, и на крышу, еще и мотоцикл заведу». А сейчас собираются приемник купить, который в руках несут, а он играет. Молодые, пусть тешатся. Мне что...

— А тебе-то привезли какой гостинец, как приехали?

— Ну уж, с таких-то заработков стыдно было бы не привезти,—вставляет дед Ступеньков.

— Привезли, как же. Сноха, та отрез на платье выложила, шерстяной, бордовый. А Степка дак пальто плюшево и платок пуховый. — Кашириха скромненько, будто бы в смущении, собирает в складки фартур, а глаза ее исподволь наблюдают, какое впечатление произвели ее слова на односельчан.

Опять пауза. И опять Лоскутиха беспомощно шамкает губами, силясь что-то сказать. На этот раз уже никто не мешает ей, терпеливо

ждут. В селе ее жалеют, потому как считают — судьба и без того круто обошлась с ней, а потом и вовсе отвернулась. До войны, говорят, Лоскутиха была красивой, словоохотливой и большой мастерицей петь частушки и плясать. А как началась война, так и давай ее беды гнуть да ломать. Осенью сорок первого пришла похоронка на мужа. Рассказывают, Лоскутиха чуть не тронулась, заговариваться стала. Ходила все по лесу да по полям и звала мужа: «Где ты, голубок мой сизокрылый, ненаглядный, отзовись, утешь меня безутешную, утешь своих птенчиков-сиротушек». Потом будто пришла в себя, унялась немного боль. Ушла вся в заботы по детям. Их у нее двое осталось на руках. Старшему, Кольке, тринадцать минуло, младшенькой, Оле, два года.

Мужа не забывала, все ждала, надеялась на чудо. Раз, в субботу, купала она Олю в корыте. Колька где-то бегал. Видит, почтальонка идет мимо дома. Выбежала на крыльцо, чтоб спросить, нет ли ей какой весточки, а когда вошла в дом, Оля уже захлебнулась. На всю деревню закричала Лоскутиха. И еще много месяцев выла каждый день на могиле своего дитя. А потом вдруг Колька задурил, совсем от рук отбилась, не стал ходить в школу. Как ни ругала его мать, как ни колотила — бросил учебу и устроился кучером в «Заготскот». Да ненадолго. Променил цыганам директорское седло за истоптанные кирзовые сапоги, директор выпорол Кольку супонью и прогнал. От обиды и злости Колька решил удрать на фронт, бить фашистов. На вокзале в городе украл у торговли кастрюлю с картошкой — попался, вернули его домой. Пропас сезон колхозных коров, а осенью подался в город, учиться в ФЗО на шахтера. Но спустился один раз в шахту — жутко там ему стало и сбежал назад в деревню. В городе Кольку научили курить, стал крепко материться, пел блатные песни. Мать уже ни во что не ставил, кидался на нее с кулаками. Подговорил еще двух дружков и залезли через трубу в магазин, взяли несколько бутылок водки, пряников, три фуфайки, спичек и ушли в бор пировать. Там их и взяли. Отправили Кольку в колонию на два года, а вернулся через четыре уже из другого места. Устраиваться на работу не торопился. Какие были вещишки у матери, снес из дому и пропил. По пьяному делу избил паромщика за то, что не хотел дать лодку, и загребел на год. Ровно через год пришел и решил жениться. Приглянулась ему Клавка Ильина. Но Клавка боялась его ухаживаний и убегала с гулянки домой. Однажды в клубе Колька подошел к ней и показал два билета:

- Идем в кино?
- Не хочу.
- Зато я хочу.
- Иди.
- Значит, отказываешься?
- Отказываюсь.
- Тогда не обессудь, любаша...

Колька вытащил нож и под страшный визг девок и самой Клавки пырнул ей в бок. Рана оказалась не смертельной, вскоре Клавка вышла из больницы. А Кольку осудили на восемь лет. С тех пор прошло уже десять, но от Кольки ни слуху, ни духу. Тогда, десять лет назад, у Ло-

скутихи и стала трястись одна рука и заслезилась глаза. Всем, кто не знает ее, кажется, будто она постоянно плачет. И говорить Лоскутиха стала плохо, с запинками и плаксиво.

— А давеча... это я... значит, сплю, — начинает что-то рассказывать Лоскутиха. Все участливо смотрят на нее, слушают и медленно кивают, как бы помогают выговаривать ей слова. — Сплю и сон вижу. Вроде иду это я... с Колей, сынком моим, по лесу. А солнышко-то.... такое уж дивно ласковое и птички поют... Вышли мы с Колей, сынком, на поляночку, он как вдруг заверещит: «Мама, мама, смотри, сколько ягоды»... Глянула я — и впрямь все кругом усыпано земляничкой. Коля ручонку у меня отнял и начал собирать ягоду... Собирает и все мне дает: «Ешь, мама, ешь». А я-то уж ем. Да такая она сладкая, ягода-то. «Так ведь это сыновняя, потому и сладкая», — подумала. Только так подумала и проснулась... Солнышко уж встало.. и щеку мне пригрело, — Лоскутиха умолкает, вытирает платком один глаз, другой. Это уже настоящие слезы. Все вздыхают. Некоторые старухи тоже смахивают слезу кончиком косынки.

— Может, придет... Николашка-то мой... али, может, к весточке это привидилось, — заключает Лоскутиха.

Устанавливается то неловкое молчание, когда и ничего не скажешь, и молчать тоже нельзя. Но тут доносится сонное Петьки Ерофеева:

— Но-о-о. Трогай.

Значит, уже выгрузился.

Старики и старухи с оханьем и кряхтеньем поднимаются и идут становиться в очередь, на ходу выясняя, кто за кем. На завалинке остается одна Лоскутиха. Еще не оправившись от волнения, она суетно хватается левой трясущейся рукой то за сумку, то за палочку, но и сумка, и палочка падают на землю. Лоскутиха нагибается, чтобы поднять их другой рукой и роняет платок. Обернувшись, Монашиха видит это, возвращается, помогает Лоскутихе встать, а подоспевшая Михеиха поднимает с земли платок, сумку и палочку. Женщины берут Лоскутиху под руки и ведут к крыльцу магазина.

— Груня, она тебе хлеба так, без очереди отпустит...

САШКА-ВОДОВОЗ

1

Прошло уже несколько лет, как отгремела война. А сироты, которых она наплодила, все бродили по свету, ища своего пристанища и счастья. Одним из таких сирот был и этот парнишка лет четырнадцати. Какие пути-дороги привели его сюда, в почти таежный сибирский колхоз, один только бог ведал. И вообще о нем никто ничего не знал.

Звали парнишку Сашкой. Сашкой-водовозом. Потому что Пивоваров, председатель колхоза, определил его на место недавно умершего старика Скворцова — возить на скотный двор воду.

Прием был короткий.

— Вон, на лужайке, бык Буська пасется, а вот телега с бочкой,— показал председатель,— ну, а речка, как водится, там, под горой. Сколько бабы будут велеть, столько и вози. Да смотри у меня. Если что — кнутом выпорю. Ну, дуй...

Заспанный, неумытый, в рваных холщовых штанах и босой, Сашка запрягал по утрам в полуразвалившуюся двуколку старого Буську, садился верхом на бочку, орал:

— Цо-о-об! — и стегал быка прутом по костлявой спине.

Вожжей Сашке не давали: в колхозе их не было. А и были бы, так ни к чему. Сколько Буська жил на свете, столько и таскал телегу с бочкой от скотного двора к речке и обратно. Без вожжей знал, куда идти, куда свернуть, где остановиться. Бык в степенной упрямоности тащил телегу, она, вихляя кривыми колесами, разноголоса скрипела, а Сашка барабанил руками по дну ведра, выбивая такт, и разухабисто распевал во все горло неприличные песни и частушки. Спустившись к речке, Буська заходил по самое брюхо в воду, останавливался и, казалось, засыпал. Сашка, не переставая горланить, становился на оглоблю и не очень спешно, однако без лени, наполнял бочку водой. Наполнив, закрывал люк рваным мешком, поверх мешка клал обрезок доски и ударом прута будил Буську:

— Цебе-е-е, заразина!

Бык до дрожи напрягал мышцы ног, горбился и потихоньку, но уверенно тащил телегу в гору. А Сашка, страшно матерясь, понукал Буську и яростно стегал прутом бока ржавой бочки. На скотном дворе Буська останавливался у деревянного желоба. И всегда в самый раз. Сашке оставалось только выбить ногой из патрубка деревянную пробку, и вода, журча, скатывалась по желобу в чан. Иногда, если Сашка неточно рассчитывал удар ногой, пробка падала не на землю, а в желоб и ее смывало в чан. Сашка злился и лез вылавливать пробку. Однако ему это скоро надоело. Обругав про себя покойного старика Скворцова, а заодно и председателя, нашел гвоздь, вбил его в торец пробки, прикрутил к нему конец медной проволоки, другой ее конец привязал к телеге.

— Хозяева! Не могли догадаться. Тут ума-то надо,— сказал вслух довольный собой Сашка.

Жил, а вернее сказать, спал Сашка-водовоз там же, на скотном дворе, в комутной. Стены этой небольшой полутемной каморки были увешаны полуремненным, полуверевочным рваньем, называемым сбруей. Здесь пахло дегтем и конским потом. Под самым потолком были устроены небольшие палаты. Когда-то давно конюхи бросили сюда охапку сена, от которого осталась теперь одна труха. Укладываясь спать, Сашка клал под голову председательское седло, а на самом краешке полатей ставил стеклянную поллитровую банку. Утром, проснувшись и открыв глаза, водовоз перво-наперво видел ее, банку, но

уже не пустую, а с молоком. Это заботились о нем доярки и телятницы. Кто именно, Сашка не гадал. Рядом с банкой он обычно находил еще и ломоть хлеба. Или пирог со свеклой. А то и шанежку. Сашка съедал все и шел за Буськой. Если же банка бывала пуста, и возле нее ничего не лежало, водовоз не испытывал почти никакого разочарования. Спрыгивал с полатей, шел в кладовую к Хорину и говорил запросто:

— Ну-к, отрежь краюху да намажь маслом.

Кладовщик Хорин, старик расчетливый и прижимистый, буравил Сашку поверх очков язвительным взглядом.

— Инженер отыскался! Со лба-то ты красив, да с затылка вшив. Ма-а-аслом ему намажь! А как его, масла-то, нету, дак тогда чем?

— Тогда медом мажь.

— Да у тя, смотрю, губа не дура.

— Ладно,— уступал Сашка, сглатывая слюну,— тогда хоть солью посыпь... Да побольше отрезай-то, чё, жалко, што ли.

Случались дни совсем невезучие: кухарка-надомница запаздывала или вовсе не пекла хлеба. Сашка равнодушно, больше для порядка, бормотал ругательство и ехал за водой. Возле огорода Степановых останавливался, перелезал через забор и, лутаясь в мокрой от росы картофельной ботве, брел к огуречным грядкам. Срывал огурцы, выбирая помоложе, пихал их за пазуху. Степаниха, высокая поджарая старуха, увидев в окно пакостника, схватив палку, выбегала из дому.

— Эт ты куды залез, басурман залетный! Ты их сажал? Щас я тебя дубиной!

— Ты чё, старая, тарахтишь, как бадья с горохом? — искренне удивлялся Сашка.— Жалко, что ли?

— Я те дам — жалко! Ты их, спрашиваю, сажал?

— Так я ж не воз — одну телегу,— Сашка придурковато гыгыкал.— А колом не маши. У меня тоже вот,— показывал прут.

Бабка останавливалась от водовоза на расстоянии, которое находила безопасным: кто знает, что у этого бродяги на уме. Хотя он не велик, да однако ж и Степаниха не молода.

— Уматывайся, кому сказано, а то щас кобеля спущу, он тебе задницу-то изорвет.

— А ну спусти, спусти, посмотрим. Да ты знаешь, кочерга, я вот этими своими руками на фронте двух фашистов и одного полиция уделал,— важно врал водовоз,— почище твоего кобеля были.

— Ну набрал, так и ступай себе,— несколько смирившись, говорила Степаниха.

— Уйду, уйду, только глотку не рви,— Сашка вразвалочку шел к городьбе и пел:

Посадил дед репку
Ни густу, ни редку.
Стала репка подрастать,
Стали воры воровать...

Возле городьбы росло несколько рядов подсолнухов. Облюбовав шляпу побольше и поспелее, Сашка откручивал ее.

— Не трожь, нечистая ты сила! Ты их сажал, спрашиваю?
Сашка пел:

Стали воры воровать,
Дед задумал их поймать...

Сашка перелезал через ограду, взбирался на бочку.

— Цо-о-б, Буська!

Вечером водовоз выпрягал быка, хлопал его по шее и отпускал на все четыре стороны, а сам шел к магазину. Если на нем серебрела афиша, направлялся прямо к клубу. Засунув руки в карманы штанов, заходил в дощатый, светящийся дырами коридорчик и прислонялся к стенке, вдоль которой уже выстроилось с десяток ребятишек. У каждого в руках или за пазухой узелок. У настезь раскрытой двери в зрительный зал стояла контролер Дуська Ступенькова. Не переставая щелкать семечки, она продавала парням и девушкам билеты и пропускала их в зал. У некоторых деньги брала, а билетов не давала или отрывала один на двоих.

— Теть Дусь, — нетерпеливо канючили ребятишки, что вдоль стены, и показывали узелки. — Уже ведь все зашли.

— Успеешь еще, постой, — Дуська бесприметно смотрела на улицу и щелкала семечки. Скорлупу она не выплевывала, а выпихивала на нижнюю мясистую губу; повисев на губе, скорлупки падали на борта жакета, а уж с них — на пол. — Ну, чё там у кого? — спрашивала наконец Дуська и оглядывала ребятишек.

— У меня яйца.

— У нас фасоль.

— У меня сало сегодня...

— Давайте сюда, — Дуська принимала подношения, складывала их в угол за дверь. Ребятишки шмыгали в зал. Сашка тоже пристраивался к ним.

— А ты куда? — Дуська хватала его за рукав.

Ничуть не сконфузившись, Сашка выворачивал дырявые карманы и пожимал плечами.

— В кино. Жалко, што ли?

— Жалко, жалко, — передразнивала его Дуська. — Жалко у пчелки, знаешь где? Повадился, косопузый, — толкала Сашку в спину. — Живей, што ли.

После картины Сашка шел к амбарам. Там, закончив работу, собирались мужики. Рассевшись на бревнах и бесколесых телегах, они курили самосад и не спеша вели разговоры. Рассказывали разные случаи, побасенки, побранивали своих баб. Одни мужики вставали и уходили, на их место приходили другие, и разговоры тянулись чуть ли не до полуночи. Сашка присаживался где-нибудь в сторонке и слушал, о чем говорят. А может, и не слушал, а думал о чем-то своем. Иногда он просил у кого-нибудь покурить. Ему давали пузатый окурочок. Сашка затягивался не совсем умело, давился дымом и кашлял. Швырял окурочок на землю.

— Ух и крепкий, заразна!

На это никто не обращал внимания. И вообще для мужиков, что Сашка был здесь, что его не было. Когда совсем смеркалось, разговоры сами собой угасали, мужики расходились по домам. Сашка шел в хомутную и лез на полати. В пустом животе бурчало, водовоз долго ворочался с боку на бок, однако в конце концов сон брал свое.

Один раз среди дня Сашка-водовоз пришел к старику Хорину.

— Надоели мне эти пыры-рыры.

Хорин посмотрел на Сашку язвительно и строго.

— Какие там у тебя еще «рыры»?

— Телега, говорю, скрипит. Дай мази.

— Хэх, какой барин! Скрипит ему! Нет мази,—и насмешливо развел руками.— Да оно со скрипом-то, дуралей, тебе в самый раз — веселее. Вроде как с музыкой.

— Ясно. Значит, мазь жалеешь, а скотину не хочешь. Буське-то полегче было б.

— О, хлопец! — Хорин даже склонил голову на бок, так ему понравилось Сашкино рассуждение,— это по-хозяйски. Скотину жалеть надо, верно говоришь. Пошли.

Хорин снял с гвоздя связку ключей и повел водовоза к дальнему амбару. Отокнул большой замок. Открыл дверь. Сашкины глаза зашмыгали по амбару. На перекладинах висели сырые кожи, от них пахло солью и затхлостью, в дальнем углу грудой лежали лопаты, вилы, грабли и прочий инвентарь, в другом углу стояло ведро с колесной мазью. А посреди амбара один на другом лежали здоровенные пузатые мешки. Сашка, может, и не обратил бы на них особого внимания, если бы на одном, верхнем, не заметил небольшую, с пятак величиной, дырочку. Из нее соблазнительно выпирали коричневые кедровые орехи. Сашка шагнул к мешкам, стал выколупывать пальцами орешки и складывать в ладонь. Два упали на пол, водовоз наклонился, чтобы поднять их, и увидел, что мешки лежат на одном конце доски, положенной поверх, должно быть, насквозь прогнившей половицы.

— Э! Э! Сураз! Ты чего там? За этим, что ль, пришел? — застрожил Хорин.— Мазь-то во что возьмешь, может, в пригоршню?

Сашка выбежал на улицу, завернул за угол амбара, сорвал широкий лопух. Попутно заметил, что амбар стоит на невысоких сваях и под него можно свободно подлезть. В Сашкиной голове шевельнулась дерзкая веселящая душу мысль.

Вечером того же дня водовоз, как обычно, сидел с мужиками на бревнах. Когда все стали расходиться, он сделал вид, что тоже пошел в хомутную. Постояв за углом мельницы, вернулся. Побродил по пустынному колхозному двору, поприглядывался, поприслушивался. Подобрал возле кузницы сломанную скобу и нырнул под амбар. В темноте нащупал прогнившую половицу. Дыра была большой. Сунул в нее скобу, заломил между доской и целой половицей, доска легко подалась. Сашка залез в амбар. Нашарил на мешке прореху, попробовал разорвать ее пошире, но мешковина оказалась крепкой.

— Заразина! — прошептал Сашка и стал выколупывать орехи. Выколупывал и сыпал за пазуху. Когда рубаха тяжело обвисла, решил, что хватит. Протиснулся в дыру под пол, как мог, аккуратно подвинул на место доску...

Забравшись на полати, Сашка с жадностью принялся щелкать орехи. Щелкал долго, уже язык стало пощипывать, а он все раскусывал звонкие ядра и отмечал про себя, какие ароматные и вкусные зерна «Теперь началась житуха, — ликовал водовоз — каждый вечер буду лазить. Только надо осторожно, чтоб никаких следов. Не забыть бы скорлупу собрать и выбросить подальше». Он еще подумал, что неплохо бы завести дружбу с деревенскими пацанами, давать им орехов, а они взамен станут приносить из дому какой-нибудь шамовки. Но тут же забраковал эту мысль. Погореть можно — продадут. Тут надо придумать что-нибудь похитрее. Но ничего Сашка придумать не успел. Незаметно для самого себя уснул, зажав в руке горсть орехов.

3

Водовоз сладко посапывал на своих полатах. А в это время в небольшом домике на краю деревни лежал в постели председатель колхоза Степан Семенович Пивоваров. Ему не спалось. Он думал о колхозных делах. Думал, вспоминал прошлое и опять думал.

До войны колхоз считался в районе хоть и не самым богатым, но справным. В сороковом на трудодень пришлось по полтора килограмма хлеба. Да еще мед, масло, кое-какие деньги. Люди были довольны, радовались. Чем не жизнь? Чего еще надо? Но началась война. Мужики ушли на фронт. Остались бабы, старики да ребятишки. Степан Пивоваров, вернувшись с войны в числе немногих односельчан, не узнал хозяйства, где почти восемь лет проработал бригадиром. Все захирело, развалилось. Ни скота, ни инвентаря, ни людей, ни председателя. Все военные годы вела хозяйство Клавдия Кравцова, застудилась и теперь лежала, не поднимаясь. Не успел Пивоваров сержантские погоны снять — избрали его председателем. Не хотелось, ой как не хотелось ему влезать в этот хомут, но понимал — больше некому. Когда закончилось голосование, Степан встал. Десятки людей смотрели на него усталыми глазами, смотрели с надеждой, с ожиданием чего-то хорошего. Степан сказал тогда:

— Товарищи колхозники! Трудно будет нам с вами построить снова ту жизнь, которую отняла война. Но помощи ждать нам неоткуда. Значит, одно остается: засучить всем повыше рукава и — за дело дружно. Тогда и построим. Еще и лучше прежней построим. Перво-наперво нам бы с места стронуться, а уж там наш воз сам покатится...

Пивоваров понимал: катиться-то легко, а вот как стронуться? По-всякому пробовал он повернуть дело — ничего не выходило. Стал искать разные обходные пути. На свой риск велел зарезать несколько яловых коров, мясо тихонько отвезли под праздник в город, продали. А через некоторое время на колхозном дворе появились клетки с чернобурыми лисами. Вся деревня сбежалась смотреть. Ребятишки тыкали в них

прутами, лисы элились, оскаливали зубы, забивались в угол. Потом клетки перенесли в коровник. А спустя немного снова вынесли и бросили на навозную кучу. Лис в них уже не было — все передохли. Просчитался Пивоваров. Надеялся, что лисы быстро расплодятся и дадут доход, а вышло совсем иначе. Значит, не дело заниматься тем, в чем не смыслишь, заключил председатель, вернее будет, если по-дедовски — скот разводить. Хоть и дольше, но надежнее. Однако опять же: породистых коров, овец надо. Чтобы их завести, нужны деньги, а где их возьмешь? На богатый урожай рассчитывать нечего, лето сорок седьмого выдалось засушливое. Медосбор тоже не был завидным. Зато хорошо уродил в тайге кедровый орех. Пивоваров отправил всех, кого только можно было, на пасеку — шишкарить. Уже по снегу привезли колхозники три воза чистых орехов, часть оставили на пасеке. Следующей весной продали орехи в городе быстро и выгодно — по три рубля за стакан. На вырученные деньги закупили в хозяйствах Алтая несколько породистых коров и целую отару, двадцать пять голов, длинношерстных овец. Это уже было что-то. Пивоваров велел привезти с пасеки оставшуюся часть орехов, чтобы были под рукой. А как только закончится сенокосная пора, отправить и их в город распродать и закупить новую упряжь. На той, что есть, далеко не уедешь — узел на узле.

4

— Ах, ты сук-кин сын! А ну вставай! — Сашка открыл глаза, на него смотрело страшное, налитое гневом лицо председателя. Оттого, что губы его нервно подергивались, острые седые усы шевелились, как у кота. Пивоваров схватил Сашку за шиворот, и водовоз очутился на полу.

— Ты чё, чё звереешь-то? — ничего не мог сообразить Сашка спросонья.

— Семечки-орешки?! — председатель загреб на полатах горсть шелухи, перемешанной с орехами, и сыпанул в заспанное лицо водовоза.

— Я не брал, — сказал Сашка по укоренившейся в нем привычке отпираться от всего.

— Сами пришли? — Пивоваров сорвал со штыря чересседельник, крутанув, поставил Сашку к себе спиной и врезал пониже ее раз, другой.

— Ну ладно тебе ...твою мать! — заорал водовоз, пытаясь высвободиться. Он сознавал, что прешен, но не считал, что грех его так велик, чтобы стоило затевать порку. — Чё, жалко, что ли?

— Жалко, сук-кин ты сын! Если б знал, как жалко! — Пивоваров бросил в угол чересседельник, взял свое седло, в дверях обернулся. Лицо его было багровым, но глаза смотрели на Сашку с сочувствием. Хотел сказать что-то доброе, но вдруг опять вспыхнул:

— Марш воду возить! Паршивец!

Сашка потерял большое место, выругал себя за то, что дал такого маху. Потом подумал, что за орехи он расплатился сполна, значит, таиться теперь нечего. Собрал орехи, рассыпавшиеся на полатах, спустил за пазуху. На душе полегчало.

Шли дни. В Сашкиной жизни никаких перемен не было. Он все так же возил воду, ходил в кино, по вечерам сидел с мужиками на бревнах, а потом шел спать в хомутную. Такая жизнь его вполне устраивала. Но были перемены в колхозе. Сенокос закончился, хлеба еще не дозрели. Пользуясь моментом, Пивоваров снарядил двух мужиков и бабу торговать орехами. Вернувшись, они выложили перед председателем кучу денег. Пивоваров и Хорин, не откладывая пошли в магазин. Купили седло для пастуха, несколько вожжей, три хомута, два поменьше и один большой, для выездного жеребца Казбека. Все это было торжественно отнесено в хомутную и развешено на штыри.

Дня через три председателя вызвали в район на совещание по предстоящей уборке. Утром, бегая по колхозному двору и отдавая разные распоряжения, Пивоваров мимоходом сказал Ваньке Смирнову, белобрысому парню лет девятнадцати, возившемуся у лобогрейки:

— Брось-ка пока это дело. Запряги в кошевку Казбека.

Ванька пошел в хомутную, вернулся с хомутом на плече.

— Ты чего эту старую колоду приволок? Теперь новый есть, — сказал Хорин. — Как-никак председатель к начальству едет.

— Какая разниси, — у Ваньки был врожденный дефект речи.

— В самом деле, давай новый, — подтвердил Пивоваров, проходя мимо.

— Поду-у-умаес...

— Я вот те подумаю. Давай живо, зануда! Опаздываю!

Ванька неохотно пошел обратно, принес новый хомут. Поставил его возле своих ног и застыл в нерешительной позе.

— Ты чего? — нетерпеливо спросил председатель.

— Так он же без гузей...

— Как? — подскочил Пивоваров и поднял хомут. Гужей точно не было. — О! ...твою мать! Куда ж они делись?!

— Так, должно быть, этот... водовоз... Больсе — кто?

Громко ругаясь, Пивоваров почти бегом кинулся на скотный двор.

Сашка только что выбил пробку из патрубка и, ожидая, когда вытечет вода, сидел на бочке, покручивая прут. Подскочив к нему, Пивоваров затряс хомутом:

— Это што?

— Так хомут же. Сам, што ли, не знаешь? — с веселой насмешливостью сказал Сашка.

— Это, это што? — от гнева в движениях председателя не было слаженности, он долго не мог попасть пальцем в отверстие, где должен был быть гуж. Сашку это совсем рассмешило.

— Знамо дело — дырка.

— Где гужи, спрашиваю?!

— Должно быть, увели, — хохотнул водовоз.

— Глупым прикидываешься. Куда дел?!

— А ты подскажи — скажу.

— Щас подскажу, — председатель выдернул из хомута супонь и

подался к Сашке. Но тот спрыгнул на землю по другую сторону телеги.

— Поймал кудого за хвост,— и с суровой твердостью в толосе. Гужей я не брал. Понял?

— Ты и орехи не брал.

— Во, во. Так я и знал. Теперь всю жизнь попрекать станешь. Сравнил тоже. Гужей я не брал. Пытай других.

— Таких других у меня — один ты.

Сашка уставился на раскаленного гневом Пивоварова удивленно и растерянно, будто сомневался в том, что перед ним председатель, и в то же время лицо водовоза было насмешливым.

— Значит, я вроде как паршивая овца в твоём стаде, да?

— Да нет, похуже.

— Ого! — наигранно удивился Сашка и почесал затылок. — Тогда навряд ли как прокаженный? У-у-у, дядя, это уже совсем опасно. Кричи скорее караул.

— Перестань дурака ломать! Прогоню к чертовой...

— Верно. Я тоже говорю: хватит. Все, конец фильма. Трудодни тебе на память дарю и вот это еще возьми,— Сашка бросил к ногам Пивоварова прут, ухмыльнулся и, повернувшись, пошел прочь.

— Куда?! — строго крикнул председатель.

— Я? — обернувшись, водовоз приставил два пальца к груди. — На все четыре. А что нам? Нынче здесь, завтра там. Как перекасти-поле: хоть дома нет, зато на воле.

— Назад, шельмец, прибью!

— Меня? А вот этого не хочешь? — Сашка сделал неприличный жест, сунул руки в карманы штанов и независимо и гордо зашагал боковыми ногами по пыльной дороге вниз, к парому, напевая:

Как по нашей речке
Плыли три овечки...

— Вернись, подлец этакий,— в голосе Пивоварова теперь было больше тревоги, нежели угрозы.

Сашка уходил. Из-под его ног вылетали легкие облачка сизой пыли.

— А должно быть, Степан, не он, гужи-то,— сказал Хорин. Председатель и не заметил, как старик пришел сюда следом за ним.

— Ты-то почему знаешь?

— Какой бы он ни был перекасти-поле, а виноватый этак не психнет... Да вернется, поди, как остынет.

— А бес его знает. Вот стервец! — Пивоваров утер рукавом пиджака лицо, сунул зачем-то в руку Хорина супонь, позвал еще раз почти безо всякой надежды: — Сашка-а-а... ты это... вернись!.. Нет, чего он тут забыл. От стервеца!

Направляясь к амбарам, председатель со злом пнул попавшее под ногу ведро. Отлетев, оно глухо ударилось о пробку, подвешенную Сашкой на проволоку.

Утро выдалось туманное, обещавшее погожий день. На колхозном дворе было оживленно. Сегодня три лобогрейки отправляли жать озимую рожь. Весь светящийся, Пивоваров сам открыл ворота, сказал взволнованно:

— Ну, мужики, с богом, што ли. Да смотрите у меня... Ванька, давай первым.

Ванька Смирнов, по-ухарски сдвинув кепку набекрень, щелкнул бичом.

— Но!

Пивоваров заметил: кнутовище у бича было новое, свежевыструганное, да и сам бич подстать ему, тугой, ременный.

— Стой, Ванька! Обожди-ка, паря.

— Сево ессе?

— А все, брат, в порядке. Нашлась-таки пропажа. А ну, дай сюда.

Вытаращив испуганные глаза, Ванька боязливо протянул председателю бич.

— Да ты сево, дядь Степан?

— Теперь вставай-ка. На твоей шкуре да при всем честном народе смотреть будем, чего ты наплел, ирод...

Возле самой кузницы была навалена куча дров. От них в сыром воздухе пахло осиновой горечью. Никто не видел, как из-за этой кучи вывернулся Сашка-водовоз. Заметили его, когда он, остановившись в воротах, сказал своим дурашливым тоном, хотя и несколько смущенно:

— Конец первой, начало второй серии.

Пивоваров поднял на него брови:

— Где болтаешься, лоботряс?! Марш запрягать Буську и вози воду,— погрозил бичом:— Да смотри у меня, стервец!.. Я те дам серии...

В этих угрозах председателя Сашка почувствовал такое, что позволило принять слова как похвалу, даже как награду. Может, впервые в жизни он улыбнулся благодарно и счастливо, повернулся и пошел делать то, что ему было велено...



Иван Полунин

* * *

Когда порывистая осень
Перешагнет и мой порог,
Она меня, пожалуй, спросит:
«А что ты в жизни, парень, смог?»

Вопросом на вопрос отвечу,
Невольно отложив листы:
Кто мне назначил эту встречу?
Где адрес мой достала ты?

Меня окинет взглядом кротким
И посмеется надо мной:
Мол ночи летние коротки,
Короче даже, чем весной...

И я пойму, что спор напрасен,
Что поступь времени крепка!
Но есть еще в моем запасе
Зима, незримая пока.

Бросает горячую землю.
Ломаются молнии, кроны задев,
И лес молодеет под ливнем.
С грозой сравню
Откровенность людей —
Отчаянных и справедливых.
Обиду не прячут они под замки,
Но в яростном споре

схлестнутся —
Готовы друг друга схватить
за грудки.

Стоять на своем и не гнуться.
Остынет борьба.
Подобреют глаза...
Улыбкой друг друга ласкают.
Природу всегда обновляла гроза,
А нас —
Откровенность людская.

* * *

* * *

Без грома и молний
Медлительный дождь,
Как замкнутый нрав,
Не приемлю.
Я радуюсь:
Небо басистое в дрожь

Заколобродила пурга,
Похоронила перекаты.
Олень вихрастые рога
На стылых стеклах отпечатал.
Гляжу на улицу: ни зги.
Но под покровом снежной ночи
Неосторожные шаги
Не мне ли вновь беду пророчат?

И я под утро узнаю,
Что небеса бровей не хмурят,
А некто в северном краю
Утихомирится, как буря.
А мне, в раздумьях о живом,
Пока мой пульс надежно бьется,
Осознавать всем существом
Свою беспомощность придется.
О, сколько существует стен!
Возможно, думаю неверно:
Мне трудно согласиться с тем,
Что смерть, как жизнь,
Закономерна...

* * *

Передохну на перевале,
Припомню с ясностью на миг:
Какие вихри бушевали
И кто утихомирил их!
Как тяжесть лишнюю, отброшу
Крутую злость, пустую спесь.
Лишь добротой наполню ношу —
В ней сила жизненная есть.
Она не тянет вниз, к подножью,
А поднимает в высоту.
Но нелегко на бездорожье
Сберечь земную доброту...
И мне еще яснее стало
Теперь, с приходом сентября,
Что лишнего пронес немало
И много сил растратил зря!

Здесь когда-то

Уголок нелюдимый.
Безголосая заводь.
Я вхожу в этот мир,
Точно в мир старины,
Где причудливым сказкам
Русалками плавать
В серебристом ковше
Отраженной луны.
Надо мною в раздумьях
Склоняются сосны.
От житейских невзгод
Исцеление — здесь!
Возвращаясь неволью
К безоблачным вёснам,
Я готов закричать:
«Отзовись! Где ты есть?»
И в ответ донеслось бы
Протяжное эхо,
Да шушанье не платья,
А чутких осин.
Мне казалось:
От прежнего чувства уехал,
А вернулся —
И снова его воскресил.
Уголок воскресил
И мечты, и печали,
И пронзительный запах
Российской земли.
Здесь когда-то сердца
Необычно стучали,
Здесь когда-то особенно
Травы цвели...



ДВА РАССКАЗА

М А Ш А

Схваченный легким морозцем, снежок похрустывал под Машины валенками, точь в точь свежий огурец на зубах. День заметно прибывал, хотя по утрам и держались еще голубоватые сумерки, и в их неярком свечении снежный покров улиц был пронзительно чист и бел, как будто тут только что похозяйничал мастеровитый маляр со своей помощницей — кистью.

Настроение у Маши было под стать чистому звонкому утру. Сегодня у нее все сладилось на редкость удачно: и завтрак быстро сготовила, и бельишко сполоснула, и даже пол успела подтереть. Праздник, он ведь уже с утра праздник. А то, что сегодня обычный рабочий день, так это празднику никакая не помеха, потому что работу свою Маша уважает.

Работает Маша неторопливо, но споро и со вкусом. Размах у нее по-мужски длинен, мазок ложится на стену широко и ровно. Так белить научил ее Степан. Немудрящие, конечно, секреты, а попробуй обойдись без них. Да еще чтобы на полу ни пятнышка.

Люська Звончихина заявится, зыркнет из-под насмоленной брови бесцветным глазом и уж не преминет высказаться:

— Дура ты, Машка! Все равно им опосля нас полы драить: одно слово — ремонт. А ты будто для маменьки родной расстарываешься, почем зря трудовую энергию расходываешь.

Маша только вздохнет и промолчит. А чего бестолку слова тратить? С Люськой спорить, что в стенку торох. Та для себя всегда правая. Ну, а Машу тоже с ее правоты не свернуть. Скривится Люська и в сердцах дверь хлопнет. И как Маша голову ни ломает, не может взять в толк — что за удовольствие для рабочего человека оставлять после себя конюшню? Самому же противно. Да и людям в глаза стыдно глядеть.

А куда как приятно, когда унылые, серые от пыли стены под твоими руками вдруг засветятся, засияют кипенной белизной — что твой молодой снежок под солнышком. Глядишь — и душа не нарадуется. А хозяева, замотанные, сердитые (им ведь ремонт сплошная мороска,

это тоже понимать надо), удивляются, радуются: «Ну и мастерица! Такая молоденькая и такая сноровистая!».

Да в общем-то и не в похвале дело. Хозяева, они тоже разные бывают. Иной раз уж так расстараяешься, а им хоть бы что, даже будто и не видят ничего — такие мертвоглазые. А есть, и видят, так все одно — слова доброго не скажут. Будто ты не человек живой, а машина, или — того хуже — служанка какая, им приписанная. Только Маша на таких не обижается. Не к лицу ей обижаться: человек она рабочий, государственный и цену себе знает. А те, хоть и нос дерут перед нею, но единственно из-за своей некультурности. А попадаются и такие — увидят, что хорошо да ладно все ею обихожено, губы сквасят — и за кошелек: не спроста, мол, она, такая-сякая, расстаралась, не иначе за государственный ремонт мзду сорвать хочет. Маше это хуже пощечины.

Нет, лучше уж о таких не думать, а то работать расхочется. С плохим настроением какая работа? А тем паче сегодня. Никак нельзя ей сегодня иметь плохое настроение. Потому как праздник. День рождения. Двадцать пять лет стукнуло Маше Красильниковой, лучшему маляру жилищно-коммунального управления. И вы это, пожалуйста, имейте в виду.

— Марья! — встретил ее у дома бригадир Григорий Антонович, дядя Гриша. — Начинай седьмую на втором этаже. Как раз тебе на полную смену.

— Ладно! — отозвалась Маша.

— «А ведь забыл... забыл, старый! — подумалось мимоходом. — А то бы непременно прибавил словечко: поздравляю, мол...»

Забрала Маша свое нехитрое снаряжение и поднялась на площадку второго этажа. Дверь ей открыла коротковолосая девчонка в черном спортивном костюме.

— Заходите! Заходите! — пригласила Машу и кинулась помогать ей. Однако при неумелости едва не расплескала известку.

В прихожей Маша рассмотрела свою неловкую помощницу. То была никакая не девчонка, а женщина, да еще и постарше ее, Маши. Лицо, правда, худенькое, девчоночье, и фигурка. А глаза старые, в морщинках, и седые нитки в стриженных черных волосах.

— Нам сказали: ремонт, приготовьтесь! — женщина почему-то нервничала, мяла пальцы и смотрела не на Машу, а куда-то в сторону. — А я, право, не знаю... Вы уж извините... Кое-что я попыталась прибрать.

Маша заглянула в комнату и не удержалась от вздоха. Так и есть! Все как стояло, так и стоит, даже с места не стронуто. Громадный шкаф у стены, стол, заваленный журналами и газетами, диван, прикрытый ковром. Перевела глаза на хозяйку: да куда той такое свернуть, хилая гражданка. Ну что ж, Маша имеет полное право отказать. Такой у них установлен порядок: жильцов заранее предупреждают, чтобы готовили фронт работ. Маляры сидят на сдельбине, и простое у них быть не должно. За какие такие грехи им иметь про-

стои и терпеть убытки? Да и государству урон по линии выполнения плана.

Летом, конечно, не то — летом людей выселяют, гуляй тогда на просторе — по всем стенам и потолкам — ни сучка тебе, ни задоринки...

— Газеты старые имеются? — спросила Маша.

— Да! Да-да! — женщина вытащила кипу пожелтевших газет.

А Маша, уперев руки в бока, внимательно рассматривала массивный, темной полировки, шкаф.

— Давайте-ка заходите с того краю, а я здесь возьмусь... Да на меня... на меня двигайте!

Шкаф не поддавался.

— Вы что в нем камень, что ли, держите? — не удержалась Маша.

— Нет, не камни, — затрясла головой женщина. — Книги. Я их выну сейчас. Подождите немножко, пожалуйста! Я быстро...

Женщина распахнула дверцы. Маша свистнула: Ого! Тут работенки до морковкина загovenья.

Хозяйка тревожно всматривалась в ее лицо.

— Ну пусть он стоит! Пусть! — вы уж без него как-нибудь... Пусть там остается небеленое.

Ишь чего не хватало! Оставлять за собой огрехи! Маша хмуро качнула головой:

— Сдвинем пока диван... Стулья в другую комнату... Давайте газеты! — распоряжалась Маша.

Женщина спешила выполнить ее распоряжения. Но у нее почему-то все валилось из рук, и Маша молча и терпеливо переделывала по-своему. А женщина смотрела на нее так потерянно и виновато, что ей стало не по себе: «Что я пугало, что ли, какое? Чего она на меня так уставилась?»

Позвонили. Открыла Маша. Зашел Сашка Баранов. С хозяйским видом вкатился прямо в комнату, оглядел критически:

— Ты что? Еще не начинала?

— Иди-ка сюда! — позвала его Маша. — Шкаф сдвинем.

Хозяйка тоже метнулась следом — помочь. Маша остановила ее жестом: стойте, мол, на месте и не мешайтесь под ногами.

Лицо Сашки побатровело от натуги.

— Ну и громила!.. — он выругался вполголоса.

— Сдурел! — одернула его Маша... — Привяжи свой поганый язычище!

Шкаф заскрипел, застонал и словно бы нехотя отошел от стены, обнажив свою затянутую паутиной спину.

— Ой! — вдруг радостно вскрикнула женщина, выхватывая из-под шкафа какой-то журнал. — Я-то его искала-искала... Знаете, какая тут важная для меня статья... Прямо как без рук...

Женщина взглянула на Сашку, покраснела и замолкла: тому не до нее, не до ее радости из-за какого-то журнала. У того свои заботы.

— С тебя пол-литра, Марья, — тон у Сашки развязный и в то же

время просительный. — Я не шучу. За ради дня рождения, а? Ссуди трешку...

Он всегда такой — всегда с похмелья и всегда сшибает. Чутье у него на этот счет поразительное. Кто и думать забыл, что у нее день рождения, а он вот помнит.

Деньги у Маши есть — пятерка, специально припасена — на торт и фруктовую воду. Надо побаловать ребятшек и Степана...

— Нету у меня таких денег, чтобы водкой тебя поить, — сухо ответила Маша, а сама непроизвольно тронула карман.

— Брехать ты, Марья, не умеешь, а потому лучше давай сразу. Ссориться тебе со мной нет никакой выгоды. Другой раз пуп надирать не буду.

— Подождите! — всполошилась женщина. — Я... я дам!

— Да вы что? — грубовато одернула хозяйку Маша. — С какой это стати? Много их тут найдется, охотников. А ну давай-давай — отчаливай! — напирала она на ошарашенного парня.

— Но он же... Действительно, вот шкаф... — женщина растерянно переводила глаза с одного на другого.

— Не ваше это дело! — рассердилась Маша. — Мне поручено — я и отвечаю.

— Ну, смотри... Теперь, без Степки, ты бы не очень... — Сашка тихо, сквозь зубы выругался.

— Закрой дверь с той стороны — дует! — с веселой злостью крикнула Маша. — Я тебе тоже могу ответить, по-нашенски, по-свойски... Топай! Топай! А вы чего стоите? — раздраженно крикнула она хозяйке. — Шкаф укрывать надо! Держите вот здесь... Закрепляйте за дверцу! Ну вот!

Сашка подождал, поглазел и, поняв, что его дело прогорело окончательно, сплюнул себе под ноги и ушел, сердито хлопнув дверью.

Машу не очень-то расстроила Сашкина вылазка — не впервой ставить таких на место. Другое сейчас занимало ее мысли: вон сколько у людей книжек! Неужели это все можно прочитать? Когда только успевают? Значит, времени свободного много. Маша тоже любит читать. Чтобы книжка была про жизнь, про хороших людей, кому и посочувствовать не грех. И чтобы написано было просто и душевно. А только вот когда читать-то? Другое дело, раньше, когда в девчонках... Э, нет! Жалобиться, обижаться на свою жизнь ей вовсе не пристало...

— Ну вот, шкафчик ваш — весь, как ребеночек в пеленках... — весело сказала Маша и взялась за кисть. Пришла пора настоящего дела. Макнув кончик кисти в ведро, незаметным ловким движением она стряхнула лишнее, и уже через всю стену легла влажная полоса. Ну, как говорится, благословясь!.. Стены белить — пара пустяков. Потолок потруднее. Но вовсе не потому, что сноровки не хватает, а единственно из-за Машиного малого роста. Ей бы еще вершочек набавить, тогда было бы куда сподручнее.

Потолок подсыхал — проступали островками снежно-белые пятна. Маша огляделась — все ладно, еще на раз, и квартира, как игрушечка.

Вверх-вниз, вверх-вниз — руки сами умные, сами все знают, за ними следить не надобно. Можно подумать, поразмышлять. Маше есть о чем подумать. Сколько ей довелось людей повидать, — уму непостижимо! Самых разных — и простых работяг, таких, как она сама, и больших начальников. Все люди, все человеки... А каких только семейных дел не насмотрелась — в кино ходить не надо. Вот и здесь — тоже все не просто. Ой, не просто! Книжек много. Газеты... журналы... А игрушки ни одной. Конечно, перед ремонтом все мелочи люди убирают. И пацан может быть в садике круглосуточно. Но все ж таки хоть какой маломальский следок а останется. Вон диван отодвигали, шкаф тот же — и ничего: ни мячика, ни куклы какой безногой, ни кубика завалищего. Журнал вон со статьей нашелся, запонка мужская выкатилась. В коридоре тапочки мужские стоптанные... Муж, значит, имеется. А вот детишек нету. Теперь понятно: с того она и живет одними книжками. Что ей еще остается делать?

Женщины не видать, не слышать — затаилась где-то, чтобы не мешаться. «Деликатная, — подумала о ней Маша. — Но, видать, несчастная. Может, и не от возраста седина — от горя. Без детишек разве не горе? Да, у каждого своя печаль, свое горевание!»

Зашуршала бумага, которой они прикрыли на всякий случай пол. Подошла хозяйка.

— Послушайте, уже третий час. А вы без отдыха. У меня суп есть. Идемте пообедаем.

— Спасибо, не надо! — мягко, чтобы и хозяйку не обидеть, и собственного достоинства не уронить, отказалась Маша. — У меня с собой тормозок.

— Ну хотя бы чаю... Я только что вскипятила... — а в глазах прямо мольба: уж так ей хочется быть чем-то полезной для Маши.

— Разве что чаю... — согласилась Маша.

На кухонном столе дышал паром блестящий никелированный чайник. Рядом в прозрачной вазочке печенье. Две черные с позолотой чашечки стоят, такие маленькие, что похожи на игрушечные. Маша оглядела стол и попросила тарелку. Хозяйка бросилась к ящику, куда, видно, по случаю ремонта, была уложена посуда, и вытащила тонкую, почти прозрачную тарелку с золотым ободком. Маша развернула свой пакет и выложила на тарелку пирожки.

— Угощайтесь! Еще тепленькие. Утром пекла. Эти вот с луком и яйцом. Эти — с капустой. А вот с картошкой...

Женщина взяла румяный пышный пирожок, осторожно надкусила и удивленно вскинула брови:

— Вкусно!

— Ешьте... ешьте еще!

— А вы себе чаю наливайте, — печенье берите. Не стесняйтесь.

— Спасибо! — степенно поблагодарила Маша, бережно опуская на стол похожую на диковинный золотисто-черный цветок чашку.

«До чего красивые, — думала она. — А прочности никакой. На них глядеть-то и то боязно, не то что в руки взять. Мне такие совсем ни к чему. Живо расколотят мои архаровцы».

— Саксонский фарфор,— сказала женщина, заметив, что Маша заинтересовалась чашкой.— Подарок отца к свадьбе. Было шесть, осталось всего две. Муж у меня... не очень осторожный...

Обе помолчали, словно не находя предмета для разговора. Потом женщина спросила:

— Сколько вам лет?

— Двадцать четыре,— машинально ответила Маша и тут же спохватилась.— Ой, да что я! Двадцать пять... Как раз сегодня.

— Вот как? У вас сегодня день рождения? — почему-то взволновалась женщина.— Надо же!

— День рождения,— сухо вато подтвердила Маша.— Спасибо вам за чай! Приятно очень горяченького...

— У вас праздник, а вы тут нашу грязь...

— Работа есть работа,— пожала плечами Маша, направляясь в комнату.

Женщина шла за нею.

— Молодец вы! — сказала она, оглядев стены.— Давно работаете?

— Давно,— коротко ответила Маша, размешивая раствор.— Восьмой год.

Времени у Маши в обрез, некогда разговоры разговаривать. На второй раз белить, правда, легче. Но освободиться надо бы пораньше. А женщина не уходила. Прислонилась к косяку и следит за Машиной кистью. Интересно ей, значит. А раз интересно, пускай смотрит. Небось не сглазит.

— Вы замужем? — спросила женщина.

— Угу! — ответила Маша.

— И дети есть?

— Трое!

Ах, как это нехорошо у нее сказало! С какой-то даже гордостью. Не надо бы так. Маша украдкой оглянулась. Женщина все так же стоит в дверях. Лицо спокойное и равнодушное. Даже слишком спокойное и равнодушное.

Вот ведь как получается — ни в чем не виноват ты перед человеком, а все равно как-то неприятно. Чтобы скрыть неловкость, Маша энергичнее заработала кистью. И тут же обругала себя. Может, и нет ничего такого, а она напридумывала да еще переживает за кого-то. Может, им так больше нравится — без детей. Есть же такие люди. Только Маше это непонятно. Даже мысль об этом ей кажется дикой. Как это не хотеть детей? Да как можно без Ирки-забияки? Без Славики? Вот уж и взаправду Славик... славный! Ирку заставить что-нибудь сделать, хоть тот же пол подтереть,— все из-под палки. А Славик услышит и вот он — тут как тут — тряпку тащит:

— Мам, я сам...

Сам! А этот «сам» чуть выше ведерка.

И Надюшка... Меньшенькая ее... Незабудочка голубоглазая. Сидит себе в уголке, тряпочки перебирает, бормочет что-то про себя, бормотушка... Да что там говорить! Нет ей никакой жизни без ребяти-

шек! И без Степана... без Степы... В горле запершило... Она поскорее закашлялась, чтобы хозяйка ничего не заметила. Та все стоит у при-толки, думает о чем-то своем. И лицо у нее теперь совсем не равнодушное — тихое, усталое, — запечаленное такое лицо. Маше опять стало ее жалко — по-бабы, по-сестрински.

— Работаете где? — спросила Маша, сама нарушая свое правило не болтать во время работы.

— Да, работаю, — поспешила отозваться женщина. — Преподаю в институте. Библиографию. Наука такая — о книгах.

— О книгах? Чудно! Какая может быть про них наука? Книжка, она для того и есть, чтобы ее читали...

— Вот именно! — горячо подхватила женщина. — Именно, чтобы читали. Вы это очень правильно сказали. Для этого как раз и нужна моя наука. Чтобы найти нужную книгу, надо знать целый комплекс... — глаза у женщины заблестели, порозовели щеки, она как-то враз помодела.

Маша слушала ее уважительно, кивала головой и даже дважды опускала кисть, чтобы показать, что ей интересно. Хотя ей и вправду было интересно. И даже капельку завидно. Вот ведь сколько всего существует на свете, о чем она, Маша, даже и не подозревает. И опять же сразу одернула себя — нельзя же быть такой жадной. Всего нехватишь. И вообще в жизни каждому свое место.

Скользит кисть по стене — вверх-вниз, вправо-влево. Маша уже и рук не чувствует — так намахалась за день. А руки, что ж, они привычные, они знают делают свое дело...

— Спасибо вам, — тихо сказала женщина и легонько дотронулась до стены, будто погладила. — Золотые у вас руки. А мы вот не можем. Сами для себя ничего сделать не можем. Ждем, пока кто-то придет и наведет порядок. Стыдно это. Нехорошо... Сейчас надо все уметь делать. Правда, время... Это настоящая трагедия нашего поколения — недостаток времени. И все мы куда-то спешим... спешим. И никак успеть не можем... Как будто на поезд торопимся и опаздываем. Вот так не заметишь, как жизнь пройдет... И окажется, тогда, что мы ничего толком не умели, не могли.

— Всего уметь нельзя, — строго сказала Маша. — Вот у вас книги... А у меня это... — она придиричиво оглядела комнату. Холодноватый голубой свет исходил от потолка, и потому он казался прозрачным и необыкновенно высоким. Тронутые легким колером, нежно золотились стены... Свежо и остро пахло известкой.

Своей работой Маша осталась довольна. Можно было бы уйти со спокойной совестью. Тем более, что ее рабочий день кончился почти час назад. Но Маша не могла уйти.

Затоптанные газеты на полу, сдвинутая со своих мест и потому кажущаяся неуклюжей и лишней, мебель — все это так не вязалось с блистательной чистотой стен и потолка.

— Скоро он придет?

— Кто? — удивилась женщина.

— Ваш муж. Ведь тут вам одной..

— Придет? — женщина невесело усмехнулась. — Нет его здесь. В Томске он... в аспирантуре...

Ну что ж ты стала, Машенька? Ведь у тебя день рождения — спешила бы, летела, как на крыльях. Нет, вот ведь какой человек непутящий! Все у нее не как у людей.

— В чем вы полы-то моете? Тащите сюда. Тряпку дайте. Сами за окна беритесь. Двое рук все-таки не одни...

— Да вы что, — женщина прижала к груди руки. — Зачем?

— А то, — рассердилась Маша. — Опять мы с вами время попусту тратим...

Когда кругом все преобразилось, и даже громила шкаф стал на свое законное место, стрелка часов приближалась к семи. Почти двенадцать часов — ничего себе рабочий денек! Вот тебе и праздник!

— Маша! — вид у женщины такой торжественный, словно она собралась говорить речь. — Маша... — тут губы ее дрогнули и она заговорила просительно. — Вы только не подумайте чего... Это не взятка и не плата какая... Я просто — от души. У вас день рождения — возьмите в подарок от меня...

Это были духи. Очень дорогие в бархатной синей коробке. Маша даже испугалась.

— Нет! Нет! — затрясла она головой.

Но женщина тут проявила особое упорство, и Маша сдалась...

— Куда мне такие... нарядные уж очень! У меня и платьев таких нет, чтобы к этим духам... И руки такие...

— Вы очень красивая, Маша, — сказала женщина. — Поверьте, они удивительно пойдут к вам, к вашим глазам, волосам...

— А вы-то как же сами?..

— Я? — засмеялась женщина, но как-то невесело. — Мне все это уже ни к чему...

— Спасибо! — Маша помолчала. — Всего вам хорошего... Вы не очень-то расстраивайтесь... Может, все и наладится.

— Наладится... Наладится, — закивала головой женщина, а потом вдруг обняла и поцеловала Машу в щеку. — Будьте счастливы...

— Да где же вы запропалились? — нянечка вывела закутанную Надюшку. — Совсем заждались девчонка: «Где мама? Где мама?».

— Да вот она, мама! Вот она! — Маша подхватила на руки дочку. — Теперь бегом за Славиком... Потом купим торт... Вот такой толстый тортище!..

— Наконец-то! Наконец-то! — запрыгала вокруг матери Иринка. Большие голубые банты взлетали над ее головенкой, как огромные бабочки.

Степан лежал на своей постели, торжественный, в белой рубашке. Его обострившееся бледное лицо было гладко выбрито. Маша пригляделась и укоризненно покачала головой: ну так и есть — порезался — вот на щеке царапина... и на подбородке.

— Не дождался!

— Ну что ты! Как можно! У тебя же день рождения... Вот мы тут вдвоем с моей хозяйшюшкой, — кивнул он на Ирину. — Дочь-то у нас совсем невеста — восьмой год! Погляди-ка, какую она картошку зажала под моим руководством... Ну, колхозники, давайте поздравлять маму!

— Поздравляем! Поздравляем! — закричали Ирина и Славик.

— Подождите! — остановила их Маша. — Праздник так праздник! Давай все на стол, Ирина. А я мигом переоденусь.

Переделалась Маша быстро, как будто в девчонках, когда после работы торопилась на свидание к нему, к Степану. Надела новые красные босоножки, платье свое любимое, в белую с синим мелкую клеточку, с большим белым воротником — и открыла духи. Сердце вдруг сладко захолонуло — весна! Вот так пахнет весной, когда распускается черемуха...

— Что это у тебя, Маша?

— А-а! Это мне сегодня подарили... — замолкла и вдруг неожиданно для самой себя соврала, — ребята из бригады...

— Да ну? — удивился Степан. — Неужели помнят?

— А то как же! — Маша гордо вскинула голову. — Помнят. Помнят своего бригадира, Степа. И все те порядки, что при нем были. И все у нас так, как при тебе, Степа... И так же дни рождения отмечаем...

— Мама! — Славик тянет ее за подол, а сам пальцем показывает на стенку над комодом.

— Батюшки мои! Красота какая! — всплеснула руками Маша. — На нее со стены в упор смотрит женщина. Да какая там женщина — девчонка еще совсем молоденькая. Испуганная, слезы в глазах и голенький веселый малыш на руках. Не русская девчонка и старинная. А вот будто бы знакомая... Вспомнила Маша — в журнале видела, в «Работнице». Так вот для чего Степан просил ее принести стекло двадцать четыре на восемнадцать. Ишь ты, приладил, как — настоящая картина! И белой бумажкой по самому краешку обклеил...

— На тебя маленько смахивает, — засмутился Степан. — Особо как ты Славика нянчила.

— Это мы с папой, — подскочила Ирина. — Я бумажку резала и клеить помогала...

— Ой, спасибо! — обняла Маша Ирину. Сверху напрыгнул Славик, и Надюшка на руки тянется. — Ну какие же вы у меня все хорошие-расхорошие!..

Степан смотрел на жену и детей и старался изо всех сил, чтобы привычная душевная боль не стерла с его лица счастливую улыбку.

Ночью Маша внезапно проснулась. Степан дышал тяжело, со всхлипом...

— Степушка! Милый! Что с тобой!

— Третий год... Третий год лежнем лежу... Твоей обузой... И никакой надежды... Никакой! Уж лучше бы тогда разом... вместе с мотоциклом — и насмерть...

Говорил Степан с трудом, будто каждое слово было тяжелым камнем, и он промоздил эти камни один на другой...

— Господи! — сказала Маша устало. — Опять ты за свое... Такой бестолковый человек... Никак не вдолбишь тебе — прямо хуже маленького!

В комнате стояла ночная тишина. Посапывал носом Славик. Девчонки дышали легко, неслышно... Осторожно постукивал будильник.

— Когда же... Когда же наконец я развяжу тебе руки?

— Ох, Степа! — Маша наклонилась и прижалась лицом к груди мужа. — Ты только одно знай — живи! Живи... живи и живи! И больше мне ничего не нужно!.. Я и так самая счастливая.

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ

I

Работяга автобус, надсадно кряхтя и вздыхая, медленно тянул бесконечным проспектом. Одолев не такой уж и крутой подъем, вдруг захрипел и стал, словно ткнулся лбом в невидимую преграду. Плотная спрессованная людская масса резко подалась вперед, откатнулась назад, заволновалась: неужели поломалось что? И Нина Николаевна тоже встревожилась. До дома добрый пяток остановок, и у нее сумка тяжеленная... На другую машину пересаживаться и думать нечего — вон они идут мимо, забитые до отказа, и все на проход до самого конца. А тут еще столько дел на сегодняшний вечер — только успевай поворачивайся! Семейство ужином накормить, заодно и о завтраке позаботиться — это раз. Ляльке платьишко дошить — это два. У Андрюшки опять ни одной чистой рубашки (не промывает как следует шею, оболтус), носки Анатолию каждый день стирать, кухонные полотенца... Со стиркой, пожалуй, за час не управишься... И эта еще заботушка, это наказаньице... — итоги за квартал. Весь день сегодня на них убила. Хоть ты лопни — не идет себестоимость!

«Нина Николаевна, урвите, пожалуйста, часок вечером... Завтра в девять обязательно надо дать телеграмму в главк». Начальство у Нины Николаевны молодое, энергичное. С ним не очень-то поспоришь — не желает признавать никаких сложностей, требует, чтобы в отчетах все было в ажуре, а само не очень-то считается с жесткими требованиями хозяйственного расчета. Вот опять же по его вине раздули

накладные расходы — потому-то она и подскочила, эта проклятая себестоимость.

«Нина Николаевна, в ваших руках судьба квартальной премии. И вообще вы — маг и волшебник, вы все можете».

Вот видели? И хоть бы один раз — а то уж совсем стало в порядке вещей. Кто-то там наработает, а она спасай им квартальную премию. И ведь спасала, чего уж там душой кривить. Против закона не шла, а все находила какую-нибудь щелочку... Маг и волшебник? Никакой она не маг и волшебник, просто обыкновенный экономист.

Подругу недавно встретила, школьную: «Счастливая ты, Нинка, не работа у тебя, а дом отдыха: сиди себе, крути арифмометр — и ни печали тебе, ни воздыхания. А мне такой классик достался, пятый «г» — я из него прямым маршрутом без пересадки в дурдом».

Долго так плакалась подруга на свою судьбу, чуть пуговицу у нее от пальто не отвертела, и еще бы час изливалась, если б Нина Николаевна (не совсем, правда, вежливо) не отцепила ее от своей пуговицы и не распрощалась. Разобраться, что особенного? — минут двадцать проговорили. Однако и эти двадцать минут, на ветер брошенные, непозволительная роскошь для женщины в наше время. Все некогда, некогда, некогда! Друзей, подруг растеряла — некогда! В кино, в театре, на концерте, давным давно не бывала. Присядет разве когда у телевизора со штопкой или шитьем — одним глазом между делом поглядеть, послушать...

Давно уж и не видела, как трава растет, как он выглядит, цветок какой-нибудь: пестики, тычинки, лепесточки, какое небо бывает на закате, роса на листьях или узорчатые льдинки над весенним ручьем... Все это она видит, разумеется, — не слепая. Видеть-то видит, а рассмотреть, полюбоваться всласть недосуг. Даже задуматься, глянуть на свою жизнь со стороны — и то времени нет. Разве что те полтора часа, что уходят каждодневно на дорогу. И опять же — не успеешь задуматься, как откуда-то вынырнут суматошные нахальные мыслишки о делах и заботах повседневных, не заметишь, как забыют, закружат голову, — и тут уж, извините, не до высоких материй. Особенно, когда квартальные планы или баланс. Тогда не то что не до размышлений — хоть от семьи отказывайся, ставь раскладушку в кабинете, днюй и ночуй. И все сроки, сроки, сроки... К первому, к десятому, к двадцатому! Только листочки мелькают на календаре. Опомнится, бывает, и ахнет — вот только что лето было, а уже зима завершила на всю катушку.

И спешка, вечная боязнь опоздать, не уложиться в сроки. Это тягостное чувство не оставляет ее даже ночью, даже во сне. Недаром ей все чаще снится один и тот же сон: она непременно должна ехать, вот-вот отойдет поезд, а она все еще дома, не одета и вещи не собраны. Она мечется в панике, все валится у нее из рук, порывается бежать, но ватные, парализованные ноги не слушаются ее. И вдруг она оказывается в каком-то маленьком тесном помещении... Да это вовсе и не помещение для людей, это футляр от больших настенных часов. Она слышит их промогласный угрожающий стук. Но ведь самих часов в фут-

ляре нет... Здесь только она одна. Значит, этот стук, он в ней самой... Значит, она уже не человек: она часы... часы... часы... Но она не хочет, она не может... Надо вырваться, разбить футляр! В нем все дело, вся опасность в нем, в этом черном узком футляре... Он сжимается все теснее, давит пруд, перехватывает горло — вот уже нечем дышать...

Очнувшись, Нина Николаевна идет на кухню, закрывает дверь чтобы не разбудить ребят и Анатолия, и долго тяжело откашливается. Выпив глоток воды, возвращается в постель. Но сна как не бывало. В голове дневная ясность — и мысли, мысли, мысли, как свора разозленных собак.

Отчего это ночью думается только о безрадостном? О том хотя бы, что прожитые лучшие годы, что впереди предстоит ей все тот же размеренно торопливый бег — бег ни к чему. Все по кругу, по замкнутому кругу, как часовая стрелка; семья — работа — магазины — семья. Разве о том мечталось Нинке Агарковой из 10 «Б», отличному математику и музыкантше?

Ни одна математическая олимпиада не обходилась без нее, ни один концерт самодеятельности. И всегда ладили между собой, эта девчонка и старенное школьное пианино. О своем собственном Нинке даже и не мечталось: матери, сторожихе горкомхоза, дай бог хоть каки-нибудь одеть-обуть да прокормить их с братом. Отец-то лег в сырую землю в сорок третьем под Курском.

Потом университет, факультет политэкономии — как стартовая площадка. И, наконец, орбита, ее постоянная орбита... Да нет, она не разочарована — не то слово. Жизнь есть жизнь, она это понимает. Только вот, пожалуй, устала. Очень устала.

Засыпает Нина Николаевна под утро, и, кажется, будильник специально выжидает этот момент, чтобы тут же подать голос.

— Не выходите сейчас? Чего ж тогда стали в проходе? — рослый мужчина с портфелем бесцеремонно притиснул Нину Николаевну к спинке сидения. Она поморщилась, переложила в другую руку тяжелую сумку, пошевелила затекшими пальцами.

Да, раньше все-таки она не так уставала и чувствовала себя вроде посвободнее. И на работе обстановка все сложнее. Вот в местком избрали. Будто больше никого не нашлось. Начальство улыбается благодушно: «Ну что вы расстраиваетесь, Нина Николаевна, душечка? Да для вас это плевое дело — производственный сектор. Кому, как не вам, лучше всех известно, кто как работает».

Плевое дело! Уж очень много их набегает, плевых дел.

Вот и муж тоже, чуть что: подумаешь — заработалась! Велика важность — помыть, постирать, суп приготовить...

Андрюшкина классная руководительница недовольна ею: редко ходите в школу, мальчик неуравновешенный, за ним нужен постоянный контроль...

И так везде и всюду. Что ни говори, тяжело бабе в двадцатом веке. Ранешняя бабенка всего-то и знала, что печку да детей. А теперь не то, теперь женщина как есть вся свободная, вся равноправная. На производстве в критический момент на кого и положиться, как не на жен-

щину. В местком или агитатором — тоже мужчины не больно разбегутся. А дом? Дом, в сущности, так и остался на ее плечах: все так, как и при бабках было, ну разве что стиральные порошки появились, котлеты готовые продаются, пельмени... Нина Николаевна усмехнулась про себя: вот только едят их не очень охотно — у мамы-то вкуснее получается.

— Сходите на следующей?

— Да, — Нина Николаевна продвинулась к выходу...

II

Поднималась Нина Николаевна на свой четвертый этаж с тайной надеждой, что кто-нибудь окажется дома. Она почему-то не любила приходить в пустую квартиру, и потом ключ, этот проклятый ключ обязательно завалится куда-то, что его не сразу найдешь. Звонок уныло отозвался в пустынных хоромах. Нина Николаевна, вздохнув, принялась выгружать из сумки кульки и свертки в поисках злополучного ключа...

Квартира выглядела так, словно некое стихийное бедствие застало врасплох ее обитателей и вынудило их спастись бегством. Все стулья сдвинуты с обычных мест. На одном — Андрюшкин свитер, на втором — брюки. Лялькин халатик распластался на диване. Один Андрюшкин башмак валяется у порога, второй красуется посередине комнаты. И книги... книги всюду — на столе, на диване, даже на холодильнике... Скатерть сдернута и повисла углом до самого пола.

Ну вот! Ее комнатные туфли опять исчезли. Это верный и, пожалуй, единственный признак того, что Лялька делала уборку. Кажется, девчонка, наводя, по ее мнению, порядок, задается целью поиграть у матери на нервах и обязательно запрячет ее туфли в самое неожиданное место.

Туфли обнаружили в стенном шкафу.

Нина Николаевна ходила по комнате, подбирая и водворяя на свои места ребячьи пожитки. Наклонилась собрать разбросанные Андрюшкой отцовские журналы (чудак-человек, какой уж год выписывает «За рулем», хотя собственной машины у них нет и никогда не будет), как вдруг пол вздрогнул и расплылся в желтоватом тумане. Тело налилось тяжестью. Нина Николаевна присела на диван, уронив голову на спинку. Ничего — это пройдет. Вот так посидит немного — и пройдет... Это ей боком выходят злосчастные квартальные показатели. Вон она, на столе, серая папочка, тянет за душу, часа своего ждет. Ладно, пусть подождет.

Звякнул ключ в замочной скважине. Знакомый кашель. Анатолий явился. Сегодня вовремя — даже удивительно. Стягивая пиджак, заглянул в комнату:

— Сидишь?

— Устала... День был трудный.

— А я, думаешь, не устал? У меня, думаешь, был легкий день?

Нина Николаевна подняла на мужа глаза:

— Но ты же сам спросил...

— Ну спросил... спросил... — обиделся Анатолий. — А ты уж и рада придраться.

Нет, лучше промолчать — себе спокойнее.

Анатолий ушел на кухню. Там загремело, загрохотало — уронил что-то, наверное крышку от кастрюли. Полилась из крана вода. Пьет. Попросить, что ли, себе глоток. Нет, лучше не надо...

— Умotalся сегодня, понимаешь? Совсем почти не обедал.

— Понимаю. Сейчас картошки потушу...

Он и вправду устает очень. На мастера все шишки... Тоже положеньице — между молотом и наковальней. Сверху вошел начальство: давай — давай! Снизу рабочие давят, своего добиваются.

Требовательный стук часов ворвался в сознание Нины Николаевны.

«Расселась, царица небесная: вроде нечего делать». Но еще какие-то секунды она провела в неподвижности, в это короткое время ее сознание лихорадочно переключалось на обычный убыстренный ритм...

— Опять Андрюшка брал мои журналы, — это вошел Анатолий, на ходу растирая шею полотенцем. — Сколько раз ему говорил — не трогай! Хоть кол на голове теши... А ты чего встаешь? Сиди уж!

— Ужин пойду готовить... — проходя, машинально тронула пальцем землю в цветочном горшке: опять Лялька забыла полить.

— Слушай, ты бы хоть цветы полил. Земля, как камень...

— Сама польешь — не велика работа, — Анатолий сбросил ей на плечо полотенце, нагнулся за журналами. — Тебе не угодишь, то недольешь, то перельешь...

Позвонили. Зашла Аннушка, соседка. Прошла следом за хозяйкой на кухню.

— Стряпаешь?

Нина Николаевна кивнула и бросила в кастрюлю с водой очищенную картофелину.

— У тебя не найдется сахарку стаканчик? Кисель заварила, глядь-поглядь, а сахару тью-тью... На мою ораву не напасешься. И в магазин бежать неохота. Завтра куплю — отдам. Ты где мяса-то взяла, в центре, что ли?

— В центре.

— Значит, еще время есть по магазинам бегать.

Промолчала. Пусть думает, что хочет. Вытерла руки, насыпала сахару из банки в Аннушкин стакан.

— Вот спасибо! Наварю кисель — пускай трескают с хлебом. Прямо не знаю, чем их кормить, оборванцев. Надоели, спасу нет. А твои-то где? Тоже, поди, по улице шастают.

— Да, бегают где-то...

Аннушка покачала обшарпанной разноцветной головенкой, двинулась было на выход, да остановилась, вспомнив:

— Слушай, Николавна! Может, на концерт двинешь? Хочешь на концерт, а?

— На концерт? — От кого угодно можно было ждать подобного предложения, только не от Аннушки. — На какой концерт?

— А! — махнула рукой Аннушка. — Замучили нас на фабрике. Как какие гастролеры объявятся, так в обязательном порядке — хошь иди, хошь не иди, а билеты покупай. Ну бывает и что хорошее — цыгане или с фокусниками. А это музыканты... Музыканты приехали откуда-то: то ли из Омска, то ли из Томска, а, может, еще откуда — не больно-то интересовалась. Цельный вечер одну голимую музыку слушать — это ж с ума сойти. Ну ты-то образованная, тебе это, может, и ничего... Я билет уж выкинуть хотела. Нехай, мол, пропадает пропадом трудовая рублевка.

Музыка... Целый вечер музыка! Когда же это было? С рассвета дежурили у касс филармонии — хоть бы входной достать, пусть бы весь вечер на ногах — только бы слушать и слушать...

Музыка — это вытесненное из ее обихода слово — ворвалось вестником иного мира. Нина Николаевна ощутила на мгновение легкий холодок восторга, представив строгие ряды кресел, огромную, в радужных огнях люстру, сосредоточенную торжественность одетых в черное оркестрантов. Отдаленные рампой от зала, вознесенные над ним, они казались существами иных сфер, не похожими на тех простых смертных, что заполняли зал в ожидании священнодействия. И эта праздничная тишина, в которой даже сказанное шепотом слово казалось кощунством...

Первый вступительный аккорд, несмотря на ожидание, раздавался всегда внезапно, заставлял вздрогнуть. Сердце обрывалось и падало в томительную сладостную пустоту. Это было как гром весенний, как обещание невозможного счастья...

И как давно это было! В той — другой жизни. В ее первой жизни. Тогда все, что стало ее сегодняшним днем — Анатолий, Лялька и Андрей, ее будни, заботы, дела и неприятности — пряталось за таинственной завесой времени и называлось заманчивым словом «будущее».

— Нет, Аннушка, спасибо! — из-под острого ножа медленно сползала тонкая спираль картофельной кожуры. — Куда уж мне? Видишь вот ужин. Ребята явятся — ни кожи, ни рожи... Обмыть, обстирать... Да и с работы пришлось захватить кое-какие бумажки... Проверить надо...

Буль! — в воду нырнула еще одна очищенная картофелина.

Когда же она была с последний раз на концерте? Лет семь назад, не меньше. Слушали с Анатолием Эдиту Пьеху. В театр или на концерт Анатолий шел, как на тяжкую, но обязательную работу — обреченно и безропотно. Возвращался усталый, раздраженный, показывая всем своим видом, на какую великую жертву пришлось ему пойти из-за прихотей супруги. Так и не удалось Нине Николаевне обратить его в свою веру. А потом и у самой эта вера, если и не иссякла совсем, то порядочно притупилась, стерлась острота радости. Когда-то она мечтала, что заведет собственное пианино, что все свободное время будет играть, играть, играть... Об этом теперь даже смешно вспоминать.

А музыка? Музыка продолжала жить. Она звучала из динамика,

с экрана телевизора, с улицы... Но это была другая музыка, мертвая, механическая. Она проскальзывала мимо сознания, не затрагивая сердца, создавая только назойливый шумовой фон, подобный шуму уличного движения. Иногда закрадывалась мысль, что музыка осталась прежней, но просто недостижима для ее слуха. Не музыка виновата, а она сама стала глухой, ее душа стала глухой... Проклятый черный футляр — в нем все дело, в его непроницаемых стенах, это они гасят все живые звуки... И только одно слышит она постоянно — однообразный и неумолимый бег времени. И кажется, что и в ее груди не сердце пульсирует, а стучит старый изношенный хронометр, неровно стучит, лихорадочно — и подчиняет своему торопливому ритму все ее бытие...

— Ой!

— Ты чего? — испугалась Аннушка.

Нина Николаевна бросила в раковину нож и зажала палец с выступившей на нем алой каплей.

— Давай твой билет. Я иду.

— Куда это ты собралась? — отозвался тут же из комнаты Анатолий.

— На концерт.

— Спятила баба... — зашелестела бумага: Анатолий опять уткнулся в газету.

— Спятила, — чему-то обрадовалась Нина Николаевна. — Спятила, — повторила она с удовольствием. — Смотри, чтобы картошка не подгорела. Кликни ребят с улицы. Пусть моются и ужинают. Да, чтоб не забыли ноги вымыть. А то так и плюхнутся в постель...

III

Все еще возбужденная, вскочила Нина Николаевна в отходящий троллейбус — и только теперь опомнилась и... испугалась. Да что это она, право, как глупая девчонка, сорвалась вдруг и понеслась невеста зачем? Благо бы, одни домашние хлопоты, а как же с пересчетами? Завтра с утра телеграфировать в главк о выполнении плана. Начальство с ума сойдет, ежели она не представит ему к утру новые, приемлемые для его престижа цифры. Оно даже и не сомневается в том, что эти цифры будут. Нина Николаевна почувствовала себя студенткой, сбежавшей с лекции. Это было приятное озорное чувство, но стоило взглянуть на часы, как оно тут же рассеялось. До начала оставалось меньше двадцати минут. Опять время! Опять этот неусыпный беспощадный надсмотрщик! Так и стоит и стоит за плечами со своим железным бичом, и никак не вырваться, не освободиться из-под его власти.

Нина Николаевна сжала что есть силы прохладный поручень. Спокойно... Спокойно! Не надо нервничать. Все равно ничего нельзя изменить. А что касается этой авантюры с концертом, так ей и надо! Вырядилась, извольте радоваться, как чучело на ярмарку. Вытащила это платье — шуршит проклятая тафта, как бумага, при малейшем движении, а тело в нем, как в станиолевой обертке. Туфли тоже — надева-

ются от случая к случаю — по великим праздникам — вот и дают пальцы: не обмялись, не привыкли к ноге.

В зал она вбежала в последнюю минуту. Служительница будто специально ждала ее и, пропустив, сразу же закрыла двери.

Музыканты уже были на сцене и настраивали инструменты. И казалось: все эти скрипки, басы, альты негромко и многогласно переговариваются, торопясь и перебивая друг друга...

Зал был почти пуст. Только в самой его середине сиротливо жалась кучка людей. То были в большинстве своем уже немолодые люди, скорее даже люди пенсионного возраста. В поле зрения Нины Николаевны попадало то тусклое серебро женской прически, то поблескивающая в свете люстры лысина. А где же молодежь? С трудом разыскала она глазами несколько легкомысленных девичьих причесок.

Как же все изменилось! Возможно, музыка не стала уже такой необходимой для человека? Или всем некогда — просто не хватает времени для того, чтобы потратить его без видимой пользы?

Музыканты все еще продолжают настраивать инструменты. Кажется, уже целая вечность прошла, а со сцены все еще доносится монотонная разноголосица. И выглядят они людьми безнадежно уставшими, профессионально безразличными ко всему окружающему.

От нечего делать Нина Николаевна принялась рассматривать изжелта серые облупившиеся стены (тоже, видно, не доходят руки привести здание в божеский вид), ряды неуклюжих, местного производства, стульев, сбитых между собой рейками, прошарканные ногами в коричневом линолеуме проплешины и опять пожалела, что, поддавшись безотчетному порыву, неразумно загубила вечер. Эти несколько вечерних часов представлялись ей теперь бесценным кладом, нелепо растраченным на безделушки. Она подумала опять об одиноко лежащей на столе серенькой папке с квартальным отчетом, и о той крошечной, но коварной цифирке, которая решает судьбу квартальной премии. Да, теперь Нина Николаевна была почти уверена, что, останься она дома, эта задача была бы ею решена, и ее молодое энергичное начальство, довольно потирая руки, сказало бы завтра: «Я верил в вас, как верят в бога, и вы не подвели меня...». И ей было бы приятно, и все были бы довольны, потому что квартальная премия никому еще не была лишней.

— Что играют? — к Нине Николаевне наклонилось молодое, заросшее буйной растительностью лицо.

— Играют? — удивилась она.

Да, конечно. А она и не заметила даже, что звуки, пока еще негромкие, как будто они возникают не тут же рядом, в зале, а где-то далеко, вне его стен, уже приобрели мелодическую стройность...

— Ян Сибелиус, — обернулась сидящая впереди женщина. — Концерт для скрипки с оркестром.

Бородатый парень шепотом поблагодарил женщину и осторожно, чуть скрипнув разохшимся стулом, уселся позади Нины Николаевны.

Сибелиус... Однажды в детстве она услышала по радио это имя, и в ее воображении тотчас возникла таинственная фигура в мрачном сред-

невековом одеянии. Позже она очень удивилась, узнав, что загадочное старинное имя носил совсем недавно умерший финский композитор.

Надо слушать. Ведь она за этим пришла сюда. Надо сосредоточиться и слушать, заставить себя по крайней мере. Вот люди — они уже давно отрешились от прозаической обыденности и живут музыкой. Даже этот бородач. Надо же! Такой молодой парнишка, а как себя изуродовал! Мода? Ох уж, эта мода!.. И как они, молодые, не понимают, до чего все это смешно? Да, просто смешно и глупо.

Это пришло внезапно — ударило в грудь, перехватило дыхание. Сердце поднялось вдруг к самому горлу и рухнуло, оборвавшись... Приступ? Опять приступ?.. Но, едва успев испугаться, она уже поняла, что это было другое: это вскрикнула скрипка. Вскрикнула в страхе, как человек перед лицом неожиданной беды. И крик не оборвался — он перешел в долгий замирающий стон. И снова всплеск. Теперь это мольба о помощи. Бьется, мечется в отчаянии маленький бессильный человек. Один, как затерявшийся в лабиринте путник. Один — а вокруг неприступные стены. Стены зловещих черных звуков. Они движутся, наступают! Все ближе, ближе... Все крепче сжимаются их ледяные объятия... Они вздымаются ввысь, вырастают до самого неба... Вот их угрожающая промадина нависла, закрыла солнце...

И все тише, все слабее одинокий страдающий голос. Он уже тоньше паутины. Еще мгновение — и конец: не вынесет напряжения, оборвется, захлебнувшись последним вздохом... Сейчас? Нет. Еще секунда... И еще одна... Но это же невыносимо! Оно выше всяких сил, ожидание неминуемой катастрофы...

Слабый голос скрипки неожиданно рвется ввысь, обретая широту и силу. Все крепче, все увереннее, и все меньше в нем беспомощных сетований. Не кончена Жизнь. Черт возьми, мы еще поборемся! Вон как решительно ведет теперь свою партию скрипка. Нет, она не плачет, не жалуется, не молит. Ее голос — голос мужества.

И никнет, опадает стена черных звуков. Они медленно отступают с тихой рокошущей угрозой: «Ладно, человек, пусть будет так — ты победил. Но мы еще вернемся... Мы вернемся. Помни о нас... Помни...»

Теперь звучит одна скрипка. Но странно, ее напев совсем не напоминает ликующую песнь победителя. В нем нет и ноты торжества: одинокий среди мертвой тишины, звучит надрывно, он полон безысходной тоски, горького разочарования...

Нина Николаевна застыла в неудобной позе, прямая, напряженная. Но она не чувствует этого, не чувствует даже своего тела. Забыла она и о серенькой папке, сиротливо валяющейся на столе в затерянной где-то за тридевять земель ее квартире. Забыла о неловком платье и тесных туфлях.

А Время? Наконец-то и этот извечный враг, неотступный ее преследователь потерял свою власть над нею. Распался футляр, в прах рассыпался. И пусть даже ее уставшее, нездоровое сердце сжимается сейчас от боли, оно радостно приемлет ее как знак освобождения. Это было необъяснимое блаженство — ощущать, что ты теряешь себя, растворяешься в томительно льющейся мелодии. И уже не понять, не раз-

личить — то ли это струны выводят свою песню, то ли твоя живая душа бьется и стонет в предчувствии новых страданий.

И рухнула тишина и разбилась вдребезги под напором все сокрушающего урагана. Налетел, смял, разметал... Затерялся, потонул в ди-
ком хаосе звуков одинокий беспомощный голос.

Вот он едва теплится, льется слабым ручейком, малой струйкой... Вот уже прерывается, иссякает — капля за каплей, капля за каплей... Если б... если б можно было кинуть себя туда, в этот вихрь, ураган, в этот черный разбушевавшийся океан! Только бы поддержать, только бы не дать исчезнуть тому живому молящемуся голосу... Или уж иссякнуть, обратиться в ничто вместе с ним.

Но что это? Какие чистые нежные голоса! Они, словно тысячи теп-
лых дружеских рук... Подхватывают мелодию измученного неравной
борьбой одиночки, вырывают его из бездны, возносят к свету, к ра-
дости...

О, как много света! Он вспыхнул вдруг и разлился, и затопил, запо-
лонил собою весь мир. И распахнулось небо — его весенняя глубинная
синь. Только в юности, в далекой своей юности видела Нина Николаевна
такое небо. И она узнала его, и узнала этот зеленый солнечный про-
стор омытых прозовым ливнем молодых трав. И себя узнала — в смуг-
логой девчонке с выгоревшими добела волосами... Ее легкое весеннее
тело устремлено вперед... А там — там (она видит, она явственно видит)
навстречу к ней протянуты руки, и глаза сияют, прекрасные глаза, та-
кие глаза, которых нет и не может быть на земле, они являются только
в снах нашей юности... Наконец-то, наконец они встретятся!

Видение исчезло вместе с последним взмахом смычка. Тишина и
всплеск жиденьких аплодисментов прервали колдовство. Музыканты
встали, устало опустив натруженные руки и машинально, по привычке
поклонились. Застучали стулья, задвигались люпиты. Черные ссуту-
лившиеся фигуры покидали сцену, унося онемевшие инструменты.

Нина Николаевна медленно идет по вечернему городу. Ей чудится,
что она тихо плывет в легких жемчужных сумерках. Неярко мерцают
фонари, смягченные тающим полусветом сибирского летнего вечера. И
небо так светло и высоко, и деревья еле слышно перешептываются меж-
ду собой — и все полно тихой раздумчивой музыки. Она складается из
отдаленных голосов, девичьего смеха, обрывочных аккордов гитары.
И этого тихого пепельного света... Музыка покоя, музыка умиротворе-
ния... А вокруг лежал город, неожиданный и незнакомый. Дома, улицы,
привычные, изученные до малейшей щербинки в асфальте, — все это
было необычно и ново.

Нина Николаевна подумала, что город сейчас похож на женщину,
бесконечно уставшую, но освободившуюся от всех суетных дневных дел.
Вот она угомонила наконец своих беспокойных домочадцев и притихла,
замерла в тишине, прислушиваясь к слабому шелестению листвы, под-
няв тихо мерцающие очи к бескрайним глубинам ночного неба. И пре-

ображенная этими короткими минутами отдохновения, она стала неузнаваемо красивой...

Рядом притормозил полупустой троллейбус, но Нина Николаевна поспешила прочь от него, словно испугавшись, что он увезет ее из этого зачарованного мира, туда, где ждет ее гора немытой посуды, невыстиранные носки и та — как символ ее будней — серая папка с листками, сплошь покрытыми столбиками цифр...

Она вышла на набережную, встала у каменного парапета. И замерла, потрясенная... Как будто она вдруг взлетела в небо. Небо над головой, небо внизу, небо вокруг. Ощутив головокружение, Нина Николаевна закрыла глаза. Нет, всего этого слишком много для одного вечера. Для одного только вечера! Но ведь она шла к нему долгие годы, она хотела его, она ждала. Так чего же бояться?

Нина Николаевна открыла глаза. Внизу широкой полосой неподвижного огня пролегла река. Ее прозрачные глубины, вобрав в себя дневное солнце, источали теперь в сумерки наступающей ночи ровное неяркое свечение. Мягко серебрились каменные плиты парапета; прожилки и впадинки, четко проступающие на их опраненной поверхности, сплетались в замысловатые узоры, напоминающие древние письмена. И хоть разгадать их сокровенный смысл было не в слабых человеческих силах, Нина Николаевна все не могла отвести от них долгого пристального взгляда.

Тишина, завораживающая тишина обступила ее со всех сторон, и она теперь отдавалась этой тишине так же самозабвенно, как совсем недавно отдавалась музыке.

Вблизи задребезжала гитара, молодые быстрые голоса резко влились в ночное безмолвие. По набережной шла группа парней и девчат. Поравнявшись с Ниной Николаевной, они замолкли и подозрительно оглядели ее с ног до головы. А когда прошли чуть подальше, их недолгое молчание разрядилось взрывом самого неподдельного веселья.

«Смеются. Надо мной смеются — не иначе», — подумала Нина Николаевна и сама усмехнулась. Действительно, ведет она себя более чем странно. Как будто она одна на целом свете и нет у нее никаких обязанностей и никакого дела, кроме как бродить по ночному городу и удивляться...

IV

— Мама! Ты с ума сошла, мама...

— Тише, не шуми...

И хотя Нина Николаевна очень осторожно открыла дверь своим ключом и вошла почти без стука, Лялька уже стояла перед ней, прижав к груди руки и глядя на нее покрасневшими жалкими глазами.

— Ну разве так можно, мама?

— Тише...

— Они спят, мужики... Не беспокойся. Им хоть в колокола звони. Это я тут, как дура, к каждому стуку... А тебя все нет и нет...

— Прости, дочка!

— Хорошо было?

— Хорошо...

— Я тебя больше не пущу одну.— Лялька решительно сдвинула брови.— И вообще я тоже хочу. Я сама с тобой буду ходить... Попробуй только не взять... Поняла?

— Поняла, Лялька... Ты иди... иди спи. Спокойной ночи!

Нина Николаевна зашла на кухню и включила свет. Удивительное дело, все сияло чистотой, ни малейшего намека на грязную посуду. И даже печь протерта до блеска. Значит, они только при ней такие бес-
помощные?..

В спальне Нина Николаевна не стала даже ночника зажигать: Анатолий очень чувствителен к свету. Она тихонько разделась в темноте. Анатолий спал, конечно, самым безмятежным образом. Вон как ровно дышит, даже слишком ровно. Ничего не скажешь, старается...

Мерно стучат часы. Секунда за секундой, минута за минутой — падают и падают крупные звонкие капли. Сколько лет прожито! Сколько их утекло вот так — под размеренный часовой перестук! Их не вернуть и ничего не исправить... Больно думать об этом. Больно признаться себе (а от этого никуда не денешься) в том, что она, Нина Николаевна, очень виновата перед Нинкой Агарковой, что она не оправдала ее розовых девчоночьих надежд. Но ведь жизнь еще не прожита, и подрастает Лялька... И она сама сможет, должна смочь жить иначе — жить смелее, раскованнее, чище.

Да, чище! Уж если сегодня такой вечер, такая ночь, значит надо всю правду до конца... Ведь все эти поиски в отчетах несуществующих цифр ради того, чтобы начальство могло рапортовать о блистательно выполненных планах, — обыкновенная липа. Блеф. Обман. И хватит, хватит! Завтра она положит ему на стол серую папку и скажет: «Здесь все правильно. Ищите просчеты там, где они есть на самом деле, — на производстве, да выправляйте положение. На то вы и начальство»... Да, вот так именно она и скажет...

— Спи! — тяжелая рука легла поверх ее одеяла.— Спи, бродяга, а то опять что-нибудь с сердцем...



Уже много лет при редакции газеты «Ленинский шахтер» работает литературная группа. Произведения ее участников печатаются на страницах газет г. Ленинска-Кузнецкого, «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса». Альманах «Огни Кузбасса» предоставлял своим читателям стихи Веры Сергиенко, Валентины Томилиной и других наших начинающих поэтов.

Недавно в нашу литературную группу пришла восемнадцатилетняя девушка Галина Золотаина. Она закончила медицинское училище, очень любит поэзию.

Первые же ее стихотворные опыты прилипли по душе всем участникам нашей литгруппы. На каждое новое заседание Галина приносила новые стихи, которые разнились от предыдущих углубленностью темы, интересными поэтическими образами. Г. Золотаина много работает. Ее трудолюбие и поэтические способности дают надежду, что со временем она порадует читателя новыми хорошими стихами.

П. ШМАКОВ,
руководитель литгруппы
г. Ленинска-Кузнецкого

Галина Золотаина

* * *

Стоят, как ветераны, тополя,
о чем-то очень давнем вспоминая...

Я старая сегодня.

Я седая.

Я тихая, как мирная земля.

Под подбородком — узелком платок.

Мне нынче шестьдесят,

а не семнадцать,

Я нынче буду долго возвращаться
в то — не мое, но памятное То.

Там, на рассвете прозowego дня,
мне девочка ладони целовала,
писать и возвратиться обещала
и обманула —
не солгав —
меня.

Та девочка мне дочерью была...

О, прошлое, скажи хотя бы имя,

Смогло же ты впустить меня в то

время,

в котором никогда я не жила.

...Но снова я сильна и молода,
рожденная уже в пятидесятых.

И, как войну прошедшие солдаты,
молчат о чем-то давнем тополя...

* * *

Я вся похожа на тебя.
О, как предательски похожа!

А за окном моим пороша
крест-накрест рубит провода.

А за окном линияют крыши
от серых тающих снегов.

А за окном все выше, выше
вершины золотых стогов.

А за окном мутнеют дали
за мрачною фатой дождя.

А мне сказали, мне сказали,
что я похожа на тебя.

Зима, весна и снова осень,
И тают крылышки годов,

и мне нужна твоя любовь,
а мы с тобой похожи очень...

* * *

Не заумною и мудрою,
а доступной и простой,
я приду и перепутаю
все, что прожито тобой.

Сколько ног, больших и маленьких,
помнит шаткое крыльцо!
Сколько новых меток-памяток
на твое легло лицо!

Ты ж глазами очень грустными
быть беспечной запретишь,
осторожно мне в напутствие
лоб губами освятишь.

Ничего не перепутает
то свидание с тобой,
лишь — пришедшая доступною —
я уйду почти святой...

В. Мазаев

ХОЧУ ЛЕТЕТЬ НА МОДУЙКУ

•

ПОВЕСТЬ

•

1 Из диспетчерской грузоперевозок Виктор Рассохин вышел в хорошем настроении: предстоит рейс на Модуйку. Правда, диспетчер долго ломался, все подсовывал Пашкино озеро, где тоже гора рыбы (неделю погоды не было), а с Модуйкой с утра нет связи, какая там обстановка, черт знает. И полетную подписал только после того как Рассохин пообещал: если перевал закрыт, он сходу поворачивает на Пашкино.

На метеостанции, куда Рассохин заглянул мимоходом, его слегка охладили: ветер северо-западный, ожидается усиление, к вечеру, возможно, до штормового.

Выйдя на берег, он остановился, прикуривая. Глинистый скат был крут и высок. Ветер дул ровно, упруго, пахнул тиной, густо синил, взъерошивая, водную гладь. «Балла два, ничего», — отметил Рассохин.

Тоненько дымил на фарватере буксирный катерок, волоча за собой гирлянду барж-коробочек. Обгоняя их, легко скользил белый и узкий, точно лепесток ромашки, пассажирский теплоход. Голые вершины Северного Камня по горизонту были подрезаны облачностью.

Внизу, под береговой кручей, на тесном клинышке воды, отгороженном от стрежня каменной насыпью, по-местному коргой, покачивался на якоре АН-2 с оранжевым хвостом. И еще гидроплан с таким же вызывающе ярким оперением стоял у берега, принайтованный к причальному плоту веревками.

Второй пилот Шура и техник Пухначев были уже возле машины, копошились на плотике, просовывали в дверь грузового отсека трап, а трап кособочился, сползал, — с залива шла крупная зыбь, и плотик качало.

Раскурив сигарету, Рассохин легко сбежал по длинной расшатанной лестнице с еще сырыми от ночного дождя ступенями, ощущая свежее выбритым лицом, как похолодал здесь, у самой воды, воздух, а запах тины и мокрого камня стал острее, навязчивей.

— Командир, — крикнул Шура, увидев подходившего Рассохина, — в баках шестьсот кэгэ, хватит?

— Нет, — сказал Рассохин, — дозаправиться надо, идем на Модуйку.

— Суду все ясно, — ответил Шура своей обычной присказкой и заметно враз похмурел, обернулся к технику: — Давай, Леша, зови бензушку, да в темпе. — И стал сосредоточенно, зло даже попинывать все еще шатающийся трап.

Был Шура невысок ростом, но плотен в плечах и груди, руки при ходьбе держал нарастопырку. Однако ходил он мало, все бегал, торопился, самое мучительное для него было — сидеть без дела. И еще Шура не любил замечаний, даже подсказок, краснел при этом, надувался, и чтобы скрыть обиду, начинал насвистывать, сложив полные губы трубочкой.

Но Рассохин был доволен своим вторым, замечаниями старался не злоупотреблять.

Он знал, отчего вдруг похмурел сейчас Шура — не от предстоящих хлопот, конечно, по заправке, а оттого, что летят на Модуйку. «Ну, давай, давай и ты еще», — усмехнулся он снисходительно-ласково и, притопывая для крепости, пошел по вихляющемуся трапу в машину.

Пухначев уже прокрутил двигатель, в кабине было тепло, и не только от двигателя. Утреннее солнце, то и дело прорывающееся сквозь быстро скользжащие раздерганные облака, успело пригреть дерматин сидений.

Он задернул шторы под прозрачным куполом фонаря, сел в свое кресло слева. Не оборачиваясь, повесил сзади фуражку, пробежал взглядом иконостас — так называл он приборную доску, — прикоснулся к штурвалу, тоже теплему от солнца. И сразу стало ему уютно и покойно, и полет на Модуйку предстал как само собой разумеющееся. Ему даже странным показалось, что еще полчаса назад он волновался, выпрашивая у диспетчера этот в общем-то нелегкий рейс.

Желание это накатило утром, как только он проснулся и по привычке первым делом глянул в окно. Было солнечно, ветер сквозь форточку пузырил занавесь, меж стекол вяло зудели слепни, попавшие туда еще с вечера. Жена Лия спала; из-под туго затянутой косынки выпирали бигуди.

И от этого долгожданного солнца, шелестящей свежо занавеси, а может, просто оттого, что он прекрасно выспался и впереди был летний день (а значит, возможность побывать на Модуйке), он ощутил вдруг, как в груди его рождается и растет маленькая тоска.

Именно так — маленькая тоска, подумал он. И определение это, счастливо осенившее его, сразу привело в равновесие и утвердило в решении — лечу на Модуйку.

На берегу о чем-то беззлобно перебранивались Шура и Пухначев, басово гудела струна лучевой антенны, из грузового отсека наносило

застарелой рыбной сыростью. Заурчал автомобильный мотор, к мосткам пятился бензовоз, стреляя из-под баллонов галькой.

Рассохин взглянул на часы, потом на зеркало залива. Зыбь покрупнела, и оградительные буйки прыгали, как водяные блохи. Он раздвинул форточку, крикнул обеспокоенно:

— Шура, Шура, долго копаться нам климат не позволяет. А ну — раз, два и поехали!

Шура вскоре влез в кабину с надутыми губами, стал с молчаливым сопением прикрывать за собой дверку — он тоже не переносил рыбного запаха.

Полтора километра до рыбозавода они прошли глиссированием, вздымая фонтаны брызг. Машину трясло, будто под поплавками не вода, а булыжная мостовая.

На разгрузочном плоту, против склада, рабочих не было; не было и тарной посуды. Только комом горбился, шевелил углами брошенный брезент.

Они причалили и, заглушив двигатель, постояли в ожидании — необходимо было прихватить тару.

Рассохин не выдержал, связался с диспетчерской: «Двадцать пять минут стою! — пожаловался он, слегка подзагнув. — Они что, вымерли там, копильщики!»

Однако берег продолжал пустовать. Только пара чаек деловито бродила в прибойной полосе, куцо взлетывая, когда накатывала особенно крупная волна.

— А ну дай ракету, — приказал Рассохин.

Шура достал из кобуры на стене ракетницу, просунул руку в форточку, выстрелил вверх.

Чайки с галдением вскинулись, их притиснуло ветром, и они бочком полетели вдоль прибоя. Рассохин проследил за ними взглядом, сказал:

— Вот что, Шура, ждать нам недосуг. И так уйму времени потеряли. Давай захватим брезент и пошли.

— А может, не пойдем? — проговорил вдруг Шура, и в его округлившись от внутреннего напряжения глазах Рассохин почувствовал вызов. — Вдруг и там такая волна — зря слетаем.

— Нет, ничего, — сказал Рассохин сухо. — Ветер северо-западный, значит — от поселка в озеро, волны там под берегом не должно быть. Тащи брезент.

2 Когда поднялись в воздух и набрали режимную высоту, Рассохин передал управление Шуре, а сам, усевшись удобнее, вынул из портфеля газету. Но читать не хотелось, и он стал глядеть вниз. Внизу тоже было все привычно, знакомо. Они как раз проходили поймой притока Енисея — сам Енисей оставался далеко влево.

Длинные пойменные озера, все выпуклостью в одну сторону, четко обозначали границу древнего, может быть тысячелетней давности, русла этого матерого притока. Буро-радужные концентрические круги болот

за ними были, вероятно, также следами русла — но уже такого древнего, что и воображения не хватало.

Еще со школьных лет Рассохин знал: по реке этой когда-то прошел с экспедицией писатель Шишков, а позже она вдохновила его на создание знаменитого романа. Впервые пролетая здесь три года назад и глядя на ртутно поблескивающую внизу реку, Рассохин удивлялся, как безлюдны ее берега и как сонно-недвижимы воды.

Не верилось, что здесь могла бушевать шумно-скандальная, яростная жизнь героев шишковской книги.

Гидроплан качнуло — штурвал перед Рассохиным закивал суетливо рогами, дублируя Шурины движения: вел Шура слишком напряженно, как, впрочем, все новички. Впереди выросла, четко обозначилась столовая гора, одна из вершин хребта Северный камень; правее горы открылся перевал. Ломаный корытообразный горизонт был слегка задернут дымкой, однако свободен от облачности.

Шура вопросительно оглянулся на командира, тот подбадривающе кивнул. Шура заметно подобрался, еще пуще посуровел и стал потягивать штурвал на себя, накапливая высоту.

Рассохин включил радиостанцию, передал диспетчеру, что перевал свободен, они идут на Модуйку. «Вас понял», — буркнул тот, видимо, все еще недовольный тем, что дал утром уговорить себя.

Миновали перевал.

Близко под крыльями проплыли тупоголовые каменные столбы с бахромой стланика, в глухих карах северной стороны лежал так и не растаявший за лето снег.

Впереди незаметно обозначилось озеро, сразу стало расходиться вширь, докуда хватал глаз, синеть и приобретать четкую извилистость берегов.

Минут пять летели над водами озера, из синевы всплыл остров, похожий сверху на разваленный стог. Гребни волн то там, то тут вспыхивали белым, и только с боку острова, с подветренной стороны, вытянулся клин тихой воды.

Показался поселок — два десятка домиков вразброс, из них выделялся один, с белой крышей из асбофанеры и белым же сигнальным флагом — рыбозасольный цех.

Вдоль берега тянулась такая же, как под островом, полоса сравнительно гладкой воды, и Рассохин, взявший управление в свои руки, круто наклонил машину, прицелился на эту узкую полоску. Почти у самой воды машину вдруг придавило ветром, и она скользнула на крыло, теряя под собой спасительную затишь.

— Газ! — крикнул Рассохин и, рванув штурвал на себя, мгновенно вспотел, ему даже показалось, что левый поплавок чиркнул по макушке волны. Пришлось делать второй заход, что уже само по себе было чепе. Он разозлился, понял, что лучше садиться с озера, прямо в волну. Теперь ветер был встречным, и он был союзником.

Рассохин мельком взглянул на Шуру. У того то ли от напряжения, то ли от серьезности момента оттопырилась нижняя губа; он заворотно смотрел на приближавшуюся вздыбленную воду. Рассохин за-

смеялся, Шура резко недоумевающе повернул голову, не понял, что в их ситуации смешного. Но губу подобрал и стал смотреть не в окно, а на приборную доску, как ему и положено.

Сели они благополучно, только в грузовой кабине от тряски оборвался и загремел огнетушитель. Из-под винта летела, затуманивая окна, водяная пыль.

Рассохин отпустил тормозную гашетку, подмигнул Шуре:

— Как ни болела, а померла, а?

3 На причальных мостках, выдвинутых в озеро, топтался парень в брезентовой куртке нараспашку и резиновых сапогах, держал в руках кольцо швартовочной веревки.

У дверей рыбозасольного цеха — бревенчатого дома с узкими бойницами окон — толпились пять-шесть рабочих в обвисших, коряющихся от соли синих халатах, наблюдали за причаливанием.

Рассохин выскочил на мостки. Волны били снизу в щелястые доски, вода пузырилась, блестела. Пока добежал до берега, в туфли ему налилась вода. Он весело ругнулся, подошел к рабочим.

Вышел грузный низкорослый мужчина лет пятидесяти, в таком же синем халате, но почище, в красном берете с хвостиком; из верхнего кармана торчала шариковая ручка. Рассохин поздоровался с ним персонально, за руку. Это был мастер цеха, фактический начальник рыболовецкого поселка и всего озера — Софрон Софроныч, по национальности селькуп.

— Та, та, та, — сказал радостно Софрон Софроныч, изо всех сил хлопнув себя по широким бедрам. — Эдакая волна, эдакий ветер, кто летит? Виктор летит — мы разве ждем, мы рыбу солим. — Узкие миндалины глаз на его смуглом от природы, лишенном растительности лице, исчезли в улыбке.

— Ветерок нормальный, — сказал Рассохин, которому было неловко за неудачную посадку. — Как раз от гнуса. А то, небось, заели тут?

— Заели, заели, — охотно подтвердил Софрон Софроныч, и рабочие тоже закивали.

— Груз-то хоть есть? — спросил Рассохин (спросил просто так, прекрасно понимая, что груза в эти дни накопилось достаточно). При этом он мельком оглядел берег и тропинки кверху, к поселку. — Только учтите, мы без тары — добавил он.

— Есть, есть, много есть. Бочки есть, всякий груз есть!

— Бочки — это дело. Нам ждать, сами видите, не с руки. Катите бочки.

— Бочки, бочки, бочки, — запел тонким голосом Софрон Софроныч и, растопырив руки, пошел на рабочих, загоняя их, точно кур, в широкие двери склада.

— Доктор дома сидит, что ли? — спросил Рассохин, минуту спустя, отступая с настила, по которому рабочие сноровисто, с шутками и гиканьем покатали стокилограммовые бочонки, набитые пелядью.

— Рыбачит доктор, с Юркой. — Софрон Софроныч сморщил лоб и

погрустнел, он понимал, что сообщает неприятность, и чтобы хоть как-то смягчить ее, сказал:— Связи нет, погоды нет, кто знал, что прилетите?

— Какая рыбалка в такой ветер?

— Они в протоке, баловство там, не рыбалка. Еще утром ушли.

От мостков донесся высокий Шури́н тенорок:

— Девятьсот кэ́гэ и ни грамма больше! И никаких пассажиров. Ни грамма!

Рассохин поднялся по пригорку, сел на шершавый валун, лицом к озеру.

Несмотря на июль, камень был холоден, даже леденящ, должно быть он глубоко увяз в землю, до самой мерзлоты. Берег сплошь, по кромку прибоя, зарос высокой грубой травой-дудкой; по тропинкам в траве лохматыми шарами катались, закруглив хвосты, лайки. Рябые полотнища сетей на покосившихся шестах вздрагивали под ветром, гирлянды поплавков дробно постукивали друг о друга.

Рассохин был расстроен — настолько, что забыл, для чего присел на камень: чтобы разуться и выжать носки.

В нем вдруг снова, как утром, всколыхнулся и стал расти комочек тоски, подкатил к горлу. Как все великолепно складывалось с утра! Надо же было столько преодолеть — службистский каприз диспетчера, сдержанное упрямство обидчивого Шуры, риск посадки в предельно допустимую волну, да мало ли еще — и все для чего? Чтобы вывезти лишние девятьсот «кэ́гэ» пеляди?

Снизу семафорил руками Шура: погрузка заканчивается, можно лететь.

Нет, сказал Рассохин, подымаясь. Они наверняка видели гидроплан, слышали нас, должны вернуться. Надо подождать еще хотя бы полчаса.

Однако злая мысль из какого-то трезвого кусочка мозга вопрошала: ну хорошо — полчаса, ну хорошо — дождешься пятнадцатиминутной встречи при посторонних понимающих глазах. Что это будет значить? Что решит? Ровно ничего. И что вообще ты собираешься решать?

4 Он спустился медленно со взгор- ка, зашел по трапу в отсек, где

Шура и двое рабочих громко стучали сапогами в переборки и пыхтели, выравнивая груз.

Рассохин окинул взглядом отсек и, презирая себя, свой голос, в котором он не мог скрыть раздражения, сказал:

— Так не пойдет, придется перекантовать. Эту сюда, а вот эту — сюда. И закрепить наново, прочнее. Чтобы на взлете не сдвинуло.

Шура молча сбил щелчком чешуйку с рукава и, судорожно вздохнув, полез по торцам бочек к выходу. Любые слова были мелки и ничтожны для выражения вспыхнувшей в нем обиды.

Рассохин тем же манером пробрался к пилотской кабине, впрыгнул в нее, с треском захлопнул дверцу.

Гидроплан покачивало. Сквозь стекла кабины был виден поселковый берег, уходящий по дуге вправо. Ветер гнул высокие лиственницы, тре-

пал кусты, и там, где он бил порывами, кусты становились седыми, точно подпаленными.

Вода вдоль берега помутнела, черные ленты водорослей потянулись с мелководий в озеро. Остров вдали, который походил сверху на стог, сейчас казался перевернутой лодочкой — мгла от сорванных брызг сплющивала его, размывала очертания.

Рассохин с упавшим сердцем понял, что взлетать уже нельзя — ни сейчас, ни тем более через полчаса.

Кто-то возился в грузовом отсеке, звякал железом; было ясно: рабочие закрепляли эти идиотские бочки.

Он туго потер ладонями лицо, стал медленным, обременяюще-тяжелым движением готовить рацию к работе.

Пока он скользил по эфиру, отыскивая свою станцию, прозвучал кусочек чьего-то диалога: «Ты жив, старина? — Жив, а что толку!..» Он усмехнулся: да, действительно.

Ответили ему сразу, ждали. Он доложил метеообстановку и свои соображения на этот счет. На связи был сам командир авиаотряда. Он приказал подготовить машину к штормовой обстановке и ждать улучшения.

Голос его был сух, официален. Должно быть, диспетчер все-таки нажаловался, сукин сын.

Шура стоял у рыбозасольного цеха, держа губы трубочкой: свистел. Он был без фуражки, шевелюра на затылке по-петушину вскидывалась и опадала. Рассохин отодвинул форточку, громко позвал его.

Когда тот пришел и уселся в свое кресло — молчаливый и отчужденный, с твердо сжатым ртом, Рассохин сказал примиряюще:

— Вот так, Шура. Мы предполагаем, а судьба располагает. Зря мы с тобой расшумелись...

— А я не шумел, — сказал Шура, глядя в окно. — Это, наверное, вы шумели.

«Вы» — было уже явной демонстрацией — наивной, раздражающей.

— Зря потому, — повторил с нажимом Рассохин, сразу растеряв свой примирительный тон, — что лететь нельзя.

— Да, — уже безучастно сказал Шура.

— Что да?

— Да, нельзя. Сюда можно, а отсюда нельзя.

— Но ведь в самом деле нельзя! — почти крикнул Рассохин. — На, слушай, штормовое предупреждение! — и стал торопливо, срываясь пальцами, щелкать включателями радиостанции. Хотя этого как раз и не надо было делать — несолидно все выглядело, не по-командирски.

Шурины наушники покачивались перед ним на рогах штурвала, он даже не протянул рук. Встал и пошел из кабины на берег.

— Стой! — сказал Рассохин. — Приготовь якоря, резервные тросы, будем закрепляться.

— Хорошо, — бросил через плечо Шура и щелкнул за собой дверцей.

От злого бессилия перед обстоятельствами, а может, просто от неловкости перед Шурой — искренним, старательным, всегда моторным Шурой, который, как ни крути, оказался в чем-то прав, — Рассохин почувствовал, что глазам его становится горячо.

5 Дом Софрона Софроныча выгодно отличался от всех домов по-

селка. Был приземист и прочен и стоял в окружении редких лиственниц над озером, так что в сумерки, особенно зимой, окна его служили рыбакам ориентиром.

Просторные сени, и кладовые, и сарайчики, примыкавшие к нему, несколько уродовали его вид, напоминая наседку, собравшую под крыло своих великовозрастных цыплят. Зато морозными и вьюжными зимами пользоваться всем этим хозяйством было легко и доступно.

Жил Софрон Софроныч с двумя сыновьями — семнадцатилетним Юрием и Генкой тринадцати лет.

После школы Юрий стал рыбаком, членом бригады, нынешней осенью ему наставала пора идти в армию. Младший Генка зиму жил и учился в районной школе-интернате, на лето возвращался к отцу и был неплохим ему помощником по части техники — командовал бригадной рацией, а в свободное от связи время садился за подвесной мотор.

Жена Софрона Софроныча умерла четыре года назад, в районной больнице. Там, в районе, ее и похоронили, потому что была нелетная погода, а по земле до Модуйки ехать шесть дней.

Она была русской, и сыновья, взяв от отца лишь смуглоту кожи, всем остальным были в мать: светловолосые и рослые, голубоглазые.

Долгое время поселок жил без своего медика. Правда, район присылал время от времени людей. Однако они, пожив месяца два-три и хлебнув «озерной тоски», под всякими предлогами уезжали.

В прошлом году приехала фельдшерица Тоня, по распределению Красноярского медучилища, да и осталась.

Квартировала она в доме Софрона Софроныча, в боковушке с пологом из палаточной ткани вместо двери, почти как член семьи, питалась за одним столом, была во многом за хозяйку. Софрон Софроныч относился к ней, как к дочери, а мальчишки слушались ее лучше, чем отца.

6 Тоня вышла замуж девятнадцати лет, но неудачно. Муж оставил ее,

и она по этому поводу не сильно убивалась. Ей казалось, что ушел он несерьезно и скоро вернется: ведь она не сделала ему ничего плохого. Но он не вернулся, а пока она ждала его — любовь незаметно иссякла.

Как-то возвращаясь из командировки за медикаментами, она в Красноярском аэропорту встретила своего бывшего мужа. Ничто в ней не дрогнуло, не затрепетало, и она, украдкой глядя на мужа через стеклянную стену касс, сказала: хорошо, что не вернулся, умница.

И с этого дня перестала о нем думать.

Случилось у нее еще одно знакомство, но такое мимолетное, что даже обидно.

На дне рождения у замужней подружки ее познакомили с неким Гурьяновым. Был он речником, каким-то там по счету штурманом. В первые минуты он ей не понравился, держал себя скованно и все искал занятие своим рукам: то вертел спичечный коробок, то скручивал из салфеток фантики.

Он часто выходил на площадку покурить, и Тоня случайно услышала его разговор с мужем подружки-именинницы. Муж только что вернулся из Москвы и небрежно похвастал: достал жене модное тогда пончо. Гурьянов на это ответил: женщин надо одевать после тридцати — до тридцати их надо раздевать. И они оба рассмеялись, и муж, войдя в комнату, с удовольствием, как свежий анекдот, пересказал это всему застолью.

Застолье тоже смеялось, потому что не было здесь женщин старше тридцати, и все они были румяны от вина и хорошего настроения.

А Гурьянов как-то сразу стал центром компании, забыл свои фантики и шутил — всегда остроумно, а потом первым предложил открыть танцы.

Само собой получилось, что он пошел Тоню провожать.

Они шли по бетонированному берегу Енисея. Выше вокзала, у набережной, дремал пассажирский теплоход; он был светлый, огромный и серебрился от береговых огней, как дирижабль; серебрились выпуклые буквы: «Композитор Бородин».

Гурьянов сказал: «Зайдем, познакомя со своим бытом». Тоня решила, что он все шутит, засмеялась: «Даже если у вас здесь знакомый капитан, он уже спит».

Гурьянов принял это как согласие и повернул вниз, по каменным ступеням. Они прошли мимо полусонного вахтенного — мальчишки в матросской робе — и в самом деле очутились на теплоходе, в длинном, пустынном коридоре. Через минуту Гурьянов уже отпирал ключом дверь с медной табличкой «3-й штурман».

Только увидев раскрытую дверь, Тоня поняла, что на этот раз Гурьянов не шутил. Она готова уже была повернуть назад, но вдруг подумала: что я волнуюсь, пока ничего страшного не произошло; и потом — этот третий мне, кажется, нравится.

Войдя, Гурьянов усадил ее на диван, сам сел напротив и стал, напряженно улыбаясь, глядеть на Тоню.

«Ну вот, все как по маслу, — с тоской, вдруг охватившей ее, подумала Тоня. — Сейчас начнет осуществлять свои лестничные принципы».

Она невольно бросила взгляд на дверь: ключ, слава богу, торчал в двери.

— Хотите чаю? — спросил Гурьянов.

На столике у окна поблескивал маленький никелированный самовар.

Тоня настороженно кивнула: да, хочу.

Ей еще ужасно хотелось сбросить тесные туфли, дать отдохнуть ногам, но она не решалась.

Гурьянов выставил две чашки, налил из самоварчика темно-розовой жидкости. Тоня поняла, что это не чай и отказалась.

К ее удивлению, он не стал настаивать, выплеснул «чай» обратно и тут же снова полез в тумбочку, достал кофеварку, принялся заправлять — водой, кофейным порошком, сахаром.

В каюте горел низкий приглушенный свет, полированные стены и мебель шоколадно отсвечивали, сквозь деревянную решетку окна

слышался плеск воды. Тоня вдруг пожалела, что ни разу до сих пор не прокатилась на таком теплоходе.

Запищала, зафыркала кофеварка.

— Знаете, — сказала она, — а у вас неплохой быт.

— Еще бы! — с готовностью откликнулся Гурьянов, наливая и протягивая ей чашку со вкусом пенящимся кофе. — Быт вполне современный и, главное, всегда со мной... А может быть — я при нем? Вы не считаете, что нам пора переходить на ты?

— Современный быт диктует вам современные темпы? — рассмеялась она. — То-есть, тебе...

— Спасибо, — сказал Гурьянов без улыбки. Отхлебнув глоток, он брал чашку обеими ладонями, точно цыпленка. — А туфли можешь снять, я же вижу, тебе хочется.

Тоня внимательно поглядела на его склоненную, с короткой стрижкой голову, на руки с крепкими пальцами, крутившие чашку, — тихо, застенчиво сказала:

— Серьезность тебе не к лицу. Тебе лучше идут шутки. Вроде той... про тридцатилетних женщин.

Гурьянов поднял на нее глаза — она ойкнула в душе, так стало тревожно ей, весело.

Он сказал:

— Достоинство шутки в том, что ее можно пропустить мимо ушей. Давай налью еще.

«Достукалась, дура», — подумала она, протягивая машинально чашку. И пока он выцеживал кофейные остатки и при этом рассказывал что-то — разулась, села в уголок дивана, подобрал ноги. В какой-то момент она посмотрела на себя со стороны, посмотрела ясным и трезвым умом — сказала: ну, девонька, ходишь по лезвию.

«Минуточку посижу и пойду. Только минуточку...» — пробовала она обмануть себя.

Гурьянов тут же сел рядом и странно замолчал, и она, уже слегка паникуя, ничего не нашла лучше, как поставить полную чашку на диван, между собой и им.

— А я о тебе что-то знаю, — быстро сказала она, опасаясь интуитивно, что молчание сейчас, в эту минуту, может вернуть того, прежнего Гурьянова.

— Что именно знаешь? — спросил он.

— Что ты... работал в тайге.

— Информация в компании?

— Нет, сама. Ты чашку удержишь в ладонях, как будто отогреваешь их. Таежная привычка.

— В самом деле? — поразился он. — Надо же! А ты глазастая.

Он пристально посмотрел на Тоню.

— Ага, стоп. Значит, и ты тоже? А?

— Немножко, — сказала Тоня. — После школы. Поварихой в сейсморти. На Подкаменной.

— Ну, молодец! — Гурьянов оживился. — А я, знаешь, мерную ленту по всей Сухой Тунгуске протащил. С геофизиками. А уж после — в

штурманское. Тоже — история вышла. Слушай, — перебил сам себя, — ты, конечно, Матяша знаешь!

— Кто это?

— Матяш-то? Ну, даешь! Вертолетчик, знаменитость. Он и на Подкаменной летал.

Тоня добросовестно подумала и сказала виновато:

— Нет, не знаю. Я же всего сезон... А что?

— Ну, черт с ним... Во ас — два раза на своей мельнице в снег падал.

— Да что ты? И ничего? — искренне удивилась Тоня.

— Ага, как огурчик. Но ты не думай, я не для голого эффекта это тебе. Просто интересно всегда общего знакомого найти. Так, для разрядки напряженности!

Гурьянов рассмеялся и потянул из-под воротника надоевший ему порядком галстук. Тоня тоже улыбнулась — своей маленькой, но такой важной сейчас победе.

— Уф, извини, — сказал он, с решительностью комкая и бросая галстук на кресло. — И убери, пожалуйста, из-под меня свой кофе. Не за себя боюсь, за казенное имущество!

Теперь они смеялись оба и оба понимали, что случилась между ними счастливая минута. И что бы ни стало — сейчас или потом — все будет освящено этой редкой минутой душевного единения.

Сердце у Тони прыгнуло — даже губам стало сухо: смеющиеся глаза Гурьянова были так близко, что спасти от них могло только чудо.

Утром «Композитор Бородин» ушел в рейс, в низовья Енисея, и вернулся только через двенадцать дней, когда Тони в городе уже не было.

Гурьянов пытался найти ее, но не нашел. Об этом ей, уже много спустя, написала подруга.

7 Когда после ненастных дней прилетал самолет, или как, подражая

авиаторам, говорили «борт», на берег выходил весь поселок, все, кто свободен от работы. Стояли и сидели на сухом бугре, смотрели: кто прилетел, что разгружают (продукты, почту, которую раздают тут же). С особенным удовлетворением наблюдали, как грузят рыбу — результат их труда. Все были отлично осведомлены, сколько рыбы скопилось на складе и сколько требуется рейсов, чтобы вывезти ее на рыбозавод.

Вот почему жители Модуйки старались не портить отношений с летчиками, даже слегка заискивали перед экипажами, выполняли все их требования, а иногда и прихоти. Что поделаешь, договор договором, а личная инициатива пилота тоже кое-что значила.

А что делать, если слетать в район захочется — за покупкой там или по другой личной надобности? На этот счет правила были строгие, особенно в летнюю горячую пору, когда на озере вводился сухой закон.

Попасть пассажиром на самолет можно было лишь в двух случаях: по вызову из района или по справке, выданной поселковым фельдшером.

Это-то последнее было для Тони сущим наказанием.

Обычно накануне рейса к ней прибежал какой-нибудь посыльный-мальчишка — и с тревогой в голосе сообщал: с дядей Васей (или дядей Ваней) плохо.

Тоня брала свой чемоданчик и бежала к дяде Васе. Тот лежал на кровати, поверх одеяла, задрав к потолку заросший кадык. Выяснялось элементарное: он «чего-то съел» и теперь «кишка кишке долбит по башке». А у него застарелый гастрит и, словом, ему давно пора показаться районным врачам.

Тоня осматривала, ощупывала дядю Васю, мяла его крепкий, мускулистый живот. Тот умеренно стонал, а на загорелой небритой физиономии его было написано одно: смертельное желание выпить. Тоня хмурилась, оставляла ему какие-нибудь безобидные таблетки и уходила.

Дядя Вася догонял ее у порога, заправляя на ходу рубаху, загораживая дверь грудью, и начинал умолять. Он прекрасно знал одно: от крика и скандала в этих случаях Тонины глаза становились холодными, как лед. А просительный голос, страдающий взгляд, клятва «в последний раз» могли еще возыметь действие.

Выслушивая сбивчивый, страстный дяди Васин монолог, Тоня испытывала душевные муки не меньше, чем сам дядя Вася.

Она знала, как укоризненно посмотрит на нее Софрон Софроныч, как рассердятся пилоты. Но рядом дышал дядя Вася, и она, не подымая глаз, выписывала ему направление.

По этой причине Тоня редко выходила на берег, когда прилетал борт.

Особенно переживала она, если прилетал экипаж командира Виктора Рассохина. Почему-то перед Рассохиним ей было особенно неловко за свои липовые справки.

И когда ей самой приходилось по делам лететь в район и угадывал его борт, Тоня старалась держаться как можно незаметнее и, во всяком случае, первой не заговаривать с летчиком. Да и он не особенно к этому стремился, она была для него обычным, как все, пассажиром.

8 В один из дней, весной, когда озеро очищалось от льда и был особенно большой перерыв в полетах, произошло следующее.

Тоня, как обычно, не устояв перед натиском очередного «дяди Васи», написала направление. На этот раз совесть ее мучила не слишком, так как на руках дяди Васи действительно обнаружили гнойнички, признак лимфангоита — профессионального заболевания рыбаков. Она решила, что не будет вреда, если дядя Вася покажется врачам. Хотя вполне могла обойтись своими средствами.

Перед самым рейсом она вдруг узнала, что молодой рыбак Сема Моисеев третий день лежит дома на животе и никому не позволяет звать доктора. Она пришла к нему и, бегло осмотрев его, потребовала приспустить штаны. Алея от смущения и морщась от боли, Сема снял штаны, и Тоня обнаружила на ягодице карбункул, причем в такой запу-

щенной форме, что требовалось хирургическое вмешательство. Обработав отек, перевязала рану и тут же выписала направление в районную больницу. В сложившейся ситуации дядю Васю следовало задерживать: два человека на грузовой рейс — это слишком. Но представив, какую сцену закатит на берегу уже настроившийся на полет дядя Вася, Тоня только махнула рукой.

Прилетел борт Виктора Рассохина.

Тоня сидела у окна и видела, как подруливала машина и как бегал по поплавку второй пилот Шура, ловя чалочный конец.

Началась погрузка, а Рассохин, в меховой куртке нараспашку, вышел на берег, стоял, курил и разговаривал с Софроном Софронычем.

А потом она отвлеклась на минуту, и когда снова взглянула в окно, внезапно увидела: Рассохин крутой тропкой поднимается к поселку. Шаг его был решительный, а в руке, которой он размахивал в такт шагу, трепетал прямоугольничек бумажки.

Тоня прижала ладонь к груди — так неожиданно и больно ударило сердце. Она сразу, в одно мгновение, поняла: что это за бумажка и куда столь решительно направляется первый пилот.

Отпрянув от окошка, стала она посреди комнаты в мучительно-жалкой растерянности. Совершенно не могла представить себе, как переживет сейчас стыд и ужас неизбежной сцены. Схватила с гвоздя дошку, кинулась в сени. Тут же опомнилась, охладела: поздно.

Она вернулась в свою комнату, опустилась на уголок кровати, с дошкой в руках, оцепенела...

— Послушайте, доктор, — сказал Рассохин громко, едва переступив порог. В больших комнатах, которые просматривались от порога, было пусто. Он огляделся, прошел и откинул полог, заменивший дверь в бочоушку. — А, вы здесь... Послушайте, когда это прекратится?

— Что? — спросила сиплым полупшепотом Тоня, подняв и тут же опустив лицо.

— Вот это, — он потряс бумажкой. — Вместо того, чтобы взять лишних сто килограммов груза, мы снова везем черт знает кого.

— У него лимфангоит...

— Бросьте, его болезнь называется по-другому.

Тоня проговорила жалобно:

— Что вы хотите?

— Чтобы вы, доктор, не потакали алкоголикам.

Он стоял в дверном проеме, придерживая одной рукой полог, а другой встряхивая за уголок злосчастную дяди Васину справку. Был он в белой рубашке с черным галстуком, в форменной фуражке на правую бровь — подавляюще симпатичный парень, — и Тоня, раз всего взглянув на него, окончательно пала духом.

Не Рассохин бы стоял перед ней, а любой другой летчик, она нашла бы что ответить. Она бы сказала: ты вот работаешь в белой рубашке, а этот самый дядя Вася, которого ты собираешься выкинуть из самолета, месяцами ходит в робе — зимой в обледенелой, а летом — вечно мокрой и пропахшей водорослями и солью. Когда рыба идет, дядя Вася вкалывает как негр, от зари до зари. А когда озеро штормит, он в за-

сольном цехе ворочает лопатой — так что позвонки трещат. И если он раз в месяц на сутки-двое вырвется в райцентр и отведет душу — в чем его преступление, он не каторжник! И еще бы добавила: вы лучше, чем справкой моей трясти, похлопотали бы там, у себя, чтобы поскорее вводили пассажирские рейсы. А то рыба у нас стала важнее человека.

Тоня молчала, комкала на коленях дошку. Она была в стареньком вязаном джемпере и брюках. Волосы, густые и упругие, скреплены кое-как — не предполагала она этой встречи, не ждала, боже мой, хоть бы отвел взгляд, сколько можно.

Низкое весеннее солнце дымно било сквозь двойные стекла. Лицо Тони розовело, и синтетический мех шубки под ее пальцами искрился, как теплая изморозь.

Рассохин шестым чувством понял вдруг, что здесь что-то не так: отчаянная скованность докторши таила в себе иные, более глубокие и волнующие причины.

Он оглядел комнату: кровать, стол, на столе кучка журналов, флакончики, керосиновая лампа, зеркало величиной с ладошку на пластиковой подставке. Самодельная книжная полка в углу; другой угол закрыт простынью, там, вероятно, гардероб. Единственное украшение на стене — перья глухаря, прибитые веером вокруг цветных открыток.

— Ну ладно, доктор, извините, — сказал он таким тоном, будто убогая обстановка эта враз примирила его с девушкой и даже с дядей Васей, который — он знал — уже сидит в самолете, крепко вцепившись в свое «законное» место. — Можно зайти?

— Да, пожалуйста, — Тоня удивленно взглянула на летчика.

Рассохин опустил полог за собой — прошел к окну, чуть склонившись, стал оглядывать озеро, горизонт, потом обернулся, снял фуражку.

— Вы сами-то часто бываете в райцентре? — спросил он.

— Нет... то есть, бываю, конечно. Но не часто, нынче два раза всего.

— Один раз я помню, — сказал Рассохин, многозначительно улыбнувшись.

— Ага, один раз с вами, — подтвердила она, обрадованная тем, что он заметил ее.

— Вы тогда еще банку с вареньем уронили, — засмеялся он. — Неделю малиной пахло!

— От мамы посылка, — Тоня смутилась. — Банка три кило. Думала, до весны сладкого хватит. А в вашем самолете настоящий каток, хоть бы песочком посыпали!

— Учтем, доктор, ваше предложение. Если вы впредь будете летать только с нами, — сказал Рассохин и тут же сам почувствовал излишнюю простоватость своего тона. И Тоня тоже почувствовала, молча поднялась и стала вешать на гвоздь уже надоевшую ей дошку.

«Ах ты, девочка-тунгусочка! — думал удивленно Рассохин минуту спустя, шагая к озеру и перебирая детали их короткой встречи. — Задружить с тобой, что ли?».

От этой мысли ему стало только весело.

9 Но уже через полтора часа, прилетев в райцентр, в сутолоке ра-

боты он забыл и докторшу, и эту их встречу и вспомнил о Тоне только спустя неделю или две, когда им снова выпал рейс на Модуйку.

Опять в счет груза был очередной дядя Вася с медицинским направлением и опять Рассохин пошел «разобраться», как он объяснил Шуре свой визит к докторше.

Однако на этот раз она оказалась не одна — тут же был старший сын Софрона Софроныча Юрий — долговязый, с копной нестриженных волос, хмурый парень. Тоня в полиэтиленовом прозрачном передничке стояла около печи, готовила обед. По тому, как дрогнули ее губы и она улынулась, обнажив влажную полоску зубов, Рассохин понял: рада ему.

И эта ее неприкрытая радость, как ни странно, не успокоила его, а наоборот — взволновала.

Он сел на скамейку у двери, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги, стал рассказывать что-то — веселое и необязательное, а она, стоя у гудящей печи, слушала его, часто поворачивая к нему свое раскрасневшееся лицо.

Он все ждал остаться с ней наедине, но Юрий то выходил ненадолго во двор и чем-то гремел под самым окном, то вдруг возвращался. А потом вообще зашел во вторую комнату и затих там, будто прислушивался.

Рассохин с ребячьей досадой уже поглядывал в окно, не спешит ли за ним нетерпеливый Шура: погрузка наверняка уже закончена.

Тоня с тазиком в руках вышла в сени, и Рассохин, уже не раздумывая, торопливо вышел следом.

В глубине просторных сеней, куда прошла Тоня, было сумрачно, хотя двери на улицу были распахнуты. Он взял ее сзади за плечи. С мягким стуком упал совок, которым Тоня набирала в тазик муку.

Она подняла руки — то ли для слабой защиты, то ли обнять хотела — и тут же опустила, потому что руки были в муке. Рассохин легонько потискал пальцами ее узкие плечи, привлек к себе. Она только тепло задышала ему в шею, и он, страдая и расстраиваясь, как никогда не страдал и не расстраивался в подобных ситуациях, пробормотал:

— Ах ты, тунгусочка...

Подержал в ладонях ее покорное, ставшее горячим лицо и, повернувшись, быстро пошел из сеней.

В этот момент распахнулась дверь, и он едва не столкнулся с выскользившим в сени Юрием.

Молча отстранив паренька и не оглянувшись, Рассохин вышел во двор и скорым шагом, почти бегом, стал спускаться к причалу.

Но если бы он оглянулся, то был бы немало удивлен и озадачен тем выражением ненависти, которое на мгновение исказило Юркино мальчишечье лицо.

и делала, что ждала его. Быстро подняла трубку, проговорила:

— Отдел писем, Рассохина.

Звонили из аэропорта, из отдела грузоперевозок.

— Лия Дмитриевна, сегодня на Модуйку идет экипаж Щербакова.

Она бросила взгляд на дверь, боясь, чтобы во время разговора не вошел кто-нибудь из коллег — сотрудников редакции, сказала:

— Спасибо. Сколько рейсов?

— Четыре.

— Хорошо, значит могу вернуться после обеда. Где Рассохин?

— У них моторесурс кончился, где-то здесь прохлаждаются.

Лия помедлила, правой рукой она держала возле уха трубку, а левой нервно заполняла штрихами лежащий перед ней чистый лист с одним-единственным словом-заголовком: «Молчалыники».

— Лия Дмитриевна, вы слушаете? — обеспокоенно спросила трубка.

— Да, да, извините. — Лия крепко зажмурилась и сказала: — Передайте Щербакову, я буду на причале через тридцать минут, пусть подождет. Вы помните о нашем уговоре — никому ни слова?

— Конечно. Только торопитесь, Лия Дмитриевна, экипаж на берегу.

Час спустя она была уже в воздухе, сидела в гулком дребезжащем чреве «аннушки», на каких-то ящиках, сосала карамельку. Год назад она бросила курить, и когда тянуло к сигарете, клала в рот сладкое. От курения она отвыкла, зато приобрела новую привычку: в минуты сосредоточенности или волнения сосать кислотовато-остую карамель.

А сейчас она волновалась так, что у нее покалывало щеки, и она то и дело доставала из сумочки на коленях зеркальце и всматривалась в себя — сильно ли заметно проступает это на лице?

Еще неделю назад, когда после мучительных размышлений ей впервые пришлось в голову слетать на Модуйку, она ужаснулась своей мысли — слишком представлялось это унижительным. Нет, как-нибудь иначе. Она перебрала много вариантов. Сначала решила без долгих терзаний собраться и уехать, оставив мужу гордое и язвительное письмо, но тут же раздумала. Это выглядело бы слишком по-книжному, а главное — легко и просто было для него. На такой вариант она категорически не согласна. Прежде поговорить с ним — сдержанно, с достоинством, потребовать объяснения, в конце концов имеет же она право.

Но какие объяснения могут удовлетворить ее? От обиды и уязвленного самолюбия, от сознания своего непоправимого горя у нее временами перехватывало грудь, не хотелось жить и двигаться.

И так получилось, что не уехала куда глаза глядят, не вызвала на разговор (духу не хватило), а вот села на самолет и летит на Модуйку, одно название которой с недавних пор стало для нее символом лжи и предательства.

Лия вспомнила, как года три назад в редакцию пришло письмо одной молодой женщины: от нее ушел муж, и она в своем отчаянии об-

ратилась к газете с просьбой помочь ей вернуть любимого человека. Редактор поручил тогда Лии ответить женщине. Лия потратила половину рабочего дня и сочинила длинное вдохновенное письмо. Там были, помнится ей, такие выражения, как «женская гордость», «всепобеждающее чувство» и в заключение совет: не считать, что жизнь сломана, жизнь так прекрасна и удивительна, встретится еще на пути тот, который будет достоин и т. п.

Воспоминание это точно ожгло ее, она даже застонала в душе — так гадко стало за вдохновенную фальшь того давнего ответа. Разве «женская гордость», спрашивала себя сейчас Лия, посадила ее тайком от мужа на этот самолет? Жизнь в самом деле считай сломана, потому что кто бы ни встретился на пути — дорожке Виктора не будет, не будет...

За круглыми стеклами летели туманные клочья. В отсеке то становилось пасмурно, почти темно, то вдруг заливало непривычно блестящим солнечным светом, так что сами собой зажмуривались глаза. Пять лет с Виктором представлялись ей сейчас вроде этого полета сквозь облачность: то нестерпимо светло, то угрожающе пасмурно.

Машина накренилась, и Лия мельком увидела блеск водной глади и кусочек берега с редкими домиками поселка. Она была здесь однажды, писала очерк о рыбаках, помнит старого мастера с круглым и гладким лицом, и его большой дом на высоком берегу, в котором ночевала — что еще сохранила память? Ничего, ну да бог с ним, в этом ли сейчас дело.

Лия неожиданно плохо, как никогда, перенесла полет, ее подташнивало, она спросила, где живет фельдшер (и довольна была, что так естественно прозвучал ее вопрос). Ей с готовностью указали на большой дом мастера, и она медленно пошла по крутой тропке, чувствуя, как тяжелеют ноги и удары сердца отдаются где-то в затылке.

У входа в уже знакомый двор она с растерянностью остановилась: во дворе дрались собаки — три или четыре, влаивали, крутились и визжали. Девушка в узких спортивных брюках и куртке нараспашку бесцеремонно, решительно растаскивала их за ошейники, пихала коленями, покрикивала. К ногам ее лепился великовозрастный щенок с поджатым аж к самому животу хвостом.

«Она», — сразу же, без колебаний, решила Лия.

Девушка утихомирила наконец свору, щенка подняла и взбросила на крышу низенького сарайчика, погрозив ему, чтобы сидел.

Лия вошла во двор и, боясь потерять на лице насильно приготовленную улыбку, протянула руку.

— Лия, журналистка.

— Тоня, — ответила девушка, глубоко дыша и подбирая с раскрасневшегося лица волосы.

— Вы так бесстрашно с ними расправляетесь — не страшно?

— Нет, а чего? Это славные собаки.

— Ого, славные, до сих пор спины — глядите — дыбом.

— Правда, правда славные. — Тоня наклонилась, сбивая с коленей налипшую шерсть. — Только вот этого долговязика невзлюбили, мне

охотник знакомый подарил. Здешние собаки вообще не любят слабаков. Я его подкармливаю персонально, а им не нравится. Приходится бедняге на крыше жить. А вы к кому?

Нет, чего там говорить, Тоня была не из красавиц. Стройниенькая, правда, прекрасные волосы (как они полились, когда она наклонилась!), лицо чистое, и голубая водолазка на груди — торчком, но все это от молодости и с молодостью пройдет. А что в ней еще, особое?

— Если вы и есть фельдшер, то собственно к вам. В полете страшно разболелась голова. Мне бы пару таблеток пирамидона, или что есть, — говорила Лия, а в затылке продолжало отдавать, и не от головной боли, которую она выдумала, а от мысли — в сущности, простой и оттого ужасной, — что соперница вот она, перед нею, рядом. Этих ее губ касались губы Виктора, и по этим тугим волосам, таким прекрасным и потому отвратительным, скользили его руки. Она искала на Тонином лице следы разврата, какой-нибудь порочности, чтобы почувствовать свое преимущество любящей женщины. Но не находила и тяжело переживала это.

Они сидели в маленькой комнатке-боковушке с палаточной тканью вместо двери, пили чай, который быстро приготовила Тоня, разговаривали.

— Есть у нас рыбак Сёма Моисеев — вот о ком вам надо написать, — говорила Тоня. — Ну, передовик и прочее. Знаете, работы у меня мало, и я иногда ухажу с бригадой, смотрю, как рыбу ловят. А на Сёму смотреть, когда он сети выметывает или выбирает — такое удовольствие. Он сам крепкий, мускулистый, волосы на лбу ленточкой перетянуты, как у старого богомаза. А тут художница к нам каждое лето зачастила, портреты рисует. Все Сёме приказывает: сними, говорит, ленту, не буду тебя с лентой писать, ты мне эпоху смещаешь. Сёма только хохочет. А художница, по-моему, просто равнодушна к нему.

«Ты чего зеваешь? — подумала Лия язвительно. — Вот бы и вторилась, чем по чужим мужьям промышлять. Не то эта дура портретистка завлечет бедного Сёму, и лишитесь вы передового жениха».

— Теть Тонь! — послышался из-за дверного полога мальчишеский голос. — У меня сеанс сейчас, будете чего передавать?

— Нет, Гена, спасибо, ничего, — ответила Тоня. — Не забудь погоду!

— Чей это мальчик? — спросила Лия.

— Сынишка хозяина. Серьезный товарищ. И за радиста у нас и за моториста. Прелесть мальчишка. Представляете, на берегу постоянно сети развешаны, так одна беда — птицы, пичуги разные, то и дело в сети попадают. Гена утром встает и первым делом к сетям бежит, птичек высвобождать.

— А вы сами замужем? — Спросив это, Лия принялась внимательно копаться ложечкой в блюде с вареньем.

— Была да сплыла! — ответила Тоня и засмеялась.

«Действительно, смешно, прямо до колик». Лия вдруг поймала себя на том, что злое чувство неприязни, почти ненависти, с которым она во-

шла сюда, уже не теснит горло, и в мускулах лица нету прежней мучительной напряженности.

Нет, нет, спохватилась она. Я унижена, растоптана, об меня, можно сказать, ноги вытерли, никакой примиримости! Глаза у нее лживые, и голос лживый, и то, что все окружающие в ее словах прелестные да славные, даже собаки — тоже ложь. Она думает, я о ней очерк писать собираюсь. Я бы написала, я бы... — Лия с усилием опустила затрепетавшие ресницы, спросила:

— Значит, разошлись, так понимать?

— Ага, — просто сказала Тоня.

— Вы тут по распределению, конечно. Много осталось отрабатывать?

— Я уже свое отработала, могу уехать хоть завтра, но не хочется, привыкла.

Лия оглядела комнату, стены, корябящиеся от неумело положенной штукатурки, задержалась на украшении из глухариних перьев, вздохнула:

— На вашем месте я бы уехала. В большой мир, в большую жизнь. Молодая, свободная. Или бы вышла замуж за этого славного, как его... Сему. — Лия улыбнулась своей непритязательной шутке. — Я газетчица, мне много приходится ездить. Часто в глухих углах я встречаю таких женщин, как вы, молодых, полных сил. И мне жаль их, искренне, до слез. Жаль их короткой молодости, даже — извините — их юной жаждающей природы. Женщина с женщиной может говорить откровенно, не правда? — добавила она.

Тонины щеки слегка зарозовели, она сказала:

— А вас не угнетает иногда, что вы думаете так, а пишете иначе?

У Лии словно холодные горошины по спине прокатились.

— Вы что, читали мои материалы?

— Нет, к сожалению. Ваших я не читала. Я ведь даже не знаю вашей фамилии. Я это вообще.

— Э, Тонечка, милая, журналистское сознание — не зеркало, что видит, то отражает. Этот инструмент посложнее. Скорее уж призма. Помните, из школьной физики? Входит один луч, а выходит два.

— Для меня это сравнение непонятно, — сказала Тоня. — И вообще я с физикой была не в ладах.

— Мы не о физике, милая, — укоризненно заметила Лия. — Мы о жизни. Или вы с нею тоже не в ладах? Вот и муж вас бросил...

Лия сказала и тут же спохватилась: она теряет рамки самой же ею придуманной тяжкой игры. С утра напряженные нервы явно сдавали.

— Если бросил, как вы говорите, значит, заслужила. Насильно мил не будешь. — Тоня теперь уже настороженно, с чувством неизвестно отчего пришедшего беспокойства посмотрела на приезжую. Лицо женственное, со слегка увядшей в тенях век кожей, милое лицо женщины лет двадцати восьми, а может моложе, — что-то в ее манере настораживающее, странное, или уж профессия такая?

— Это правда, насильно мил не будешь. Старая и вечно новая истина, — сказала Лия и поморщилась: ей становилось что-то совсем худо,

глаза ее вдруг повлажнели. Чтобы скрыть слезы, она стала рыться в сумочке, опустив лицо. Наткнулась на кулек конфет, сказала притворно-радостно: — О, забыла, у меня есть карамель, чудесные конфеты, в Москве заказываю, угощайтесь. — И сама первая зашуршала оберткой.

Она уже понимала, что переоценила свои силы. Конечно, думала она, девчонке что; а мне приходится лгать, огород городить. Какую-то призму выдумала...

Ей уже было стыдно, самолюбие ее страдало, и тошнота не отпускала, черт бы летал на этих жестянках. Хотелось теперь одного: как можно натуральнее доиграть встречу и распрощаться.

А может не надо мудрить, а сделать просто: прямо в глаза высказывать этой потаскушке все. Чего церемониться! — От этой внезапной мысли у Лии застучало сердце, стало сухо во рту. — Да, именно здесь, сейчас. Недаром Виктор всегда говорит, что я люблю усложнять самые простые вещи. А все гораздо проще...

Тошнота уже, казалось, заполнила ее всю, проникла даже в пальцы, она навалилась на стол, прикусила зубами платочек. Рывания подымались из нее толчками, в глазах все плыло, и она с ужасом, со стыдом и страхом поняла, что плачет — жалостливо, некрасиво.

— Тяжелый полет... голова... ужасное состояние, извините, — бормотала она первые попавшиеся слова и щелкала сумочкой — то пряча платок, то вынимая и прикусывая его.

Тоня встревожилась, сказала:

— Вы больны, может приляжете?

— Да, пожалуй, лечь... тяжело, нехорошо. Хотя нет, мне возвращаться надо... в редакции ждут.

— Прилягте, — настойчиво повторила Тоня. — Я сейчас что-нибудь найду успокаивающее. — И, выдвинув из-под занавеси картонный ящик, стала копать в нем.

Лия легла на кровать, комната качалась перед ней. Вдруг сильно закачался брезент, просунулась нестриженная голова:

— Теть Тонь, обещают ухудшение!

Лия поняла, что речь идет о погоде, попыталась встать.

— Ой, что вы, мне надо лететь.

— Улетите, улетите, — сказала Тоня и посмотрела в окно, — вон, кажется, гудит. — И профессиональным жестом взяла Лию за запястье. — Полежите немного, это пройдет.

Через пять минут Лия стояла возле стола, заглядывая в маленькое на пластмассовой подставке зеркало, спешно приводила себя в порядок.

— Нервы, черт их брал... — говорила она смущенно.

— Может быть и нервы, — сказала Тоня. — Только мне кажется, вы беременны. Вы знали об этом?

Назад Лия летела опять одна. Теперь весь отсек был заставлен корзинами с рыбой, сидеть стало неловко, жестко, но главная неловкость, которую она сейчас ощущала, была не физическая, а душевная.

Ей было стыдно за свои слезы и за свою истерику, а главное — стыдно за свои слова, боже, что она плела! Откуда к ней, в ее расстро-

енную голову влетела эта физика, эта несчастная призма с преломлением — за минуту до того она ни о чем подобном не думала. Тут вспомнила она «юную жаждущую натуру», ахнула и, привалившись к гулкой вибрирующей стене, замычала. Как же у тебя получилось, говорила она, что ты, Лийка Рассохина, когда-то активистка журналистского факультета, выпускница с красным дипломом, втайне мечтавшая стать писательницей — так мелко и гадко унизила себя?

Боже мой, у меня будет маленький? Пять лет ждала, отчаялась, так что уж и не верится. Сказать Виктору? Нет, это сейчас прозвучит как ультиматум. Уговорю его, уедем, переломлю себя, начнем по другому. Два человека это просто два человека, а трое — уже семья. Мы же с ним ни разу, кажется, вслух не называли себя семьей...

Она постепенно успокоилась и даже достала зеркальце и долго, прищурив, смотрелась.

Самолет уже не бросало, он шел ровно и грузно, лишь иногда, как на ухабах, скрипя и кренясь. Лия глядела на кусочек рифленого зашарпанного пола под ногами, на дверь с облезлой, такой домашней ручкой, и ей вдруг подумалось, что и этот зашарпанный пол, и захватанная до блеска ручка, и вся в многочисленных вмятинах дверь — лучший показатель надежности и долговечности некачественной машины. Надо будет эту психологическую деталь записать, пригодится. Из корзины торчала рыба голова с вытаращенными глазами и широко раскрытым беззубым ртом, смеялась.

После отъезда странной журналистки Тоня вышла на берег, присела на камушек, ощущая разгоряченным лбом холодный от воды ветерок, крепко обняла колени, задумалась.

Что же, собственно, произошло?

Небо над пустынной ширью озера казалось особенно высоким. То приближался, то затихал четкий стукоток лодочного мотора — возвращались с лова рыбаки.

Кто-то мягко ткнулся ей под локоть. Это был долговязик, он изо всей силы рубил хвостом воздух, даже покачнулся от усердия — так хотел выразить ей свою любовь и преданность. Тоня взяла его за щеку, сказала укоризненно:

— Опять не захотел сидеть на крыше, дурачок? Ну гляди, потреплют тебя большие собаки, поумнеешь.

Так что же в конце концов произошло?

11 С помощью рабочих Рассохин и Шура закрепили гидроплан,

прихватили плащи и поднялись к дому Софрона Софронича.

Здесь, наверху, ветер гулял во всю свою штормовую силу. Тропа по взгорку была устлана поваленной жесткой травой. Гидроплан с оранжевым хвостом походил отсюда на жучка, случайно зацепившегося за соломинку причала. Поверхность озера шевелилась и кипела белыми стружками, казалась отсюда выпуклой.

На столе, когда они вошли в дом, уже дымилась рыба в глубокой

сковороде. Софрон Софроныч в просторной рубаше, гостеприимно сияющий улыбкой, мыл под рукомойником ложки.

Рассохин и Шура сняли кители, не спеша умылись — торопиться теперь было некуда, — сели за стол.

Но едва они принялись за обед, как под окном послышались голоса и вошел Юрий с двустовкой через плечо, шурша мокрым брезентом, а за ним Тоня — в прожженной и залатанной телогрейке и лыжных брюках.

В доме сразу стало шумно и хлопотливо.

Тоня, розовая от ветра, была возбуждена и с порога, едва поздоровавшись, стала рассказывать, как сегодня Юра учил ее стрелять по ггарам, а потом, на выходе из протоки, их чуть не захлестнуло волной. Так и приплыли по колена в воде, ужас.

Стесняясь своего страшенького одеяния, она скрылась в боковушке, крикнула: «Прошу не входить!» — и оттуда продолжала:

— А Генка где, шельмец и обманщик? Он что нам обещал: мотор будет работать как часы? А только мы самолет услышали, я говорю: поехали — и мотор заглох... Ну, Генка-механик, отладил называется. Хорошо еще, что в протоке, где затишек, а если бы в озере — представляете ужас.

— Чо мотор, чо мотор! — вскинулся из дальней комнаты Генка. — Утром с одного рывка заводился!

— Юра сто рывков сделал! — сказала за занавеской Тоня и засмеялась чему-то.

— Ха, твоему Юре собаками управлять, а не мотором. Не знает, в какую сторону гайки крутятся! — упорствовал Генка.

— Не болтай лишнего! — буркнул прошлепавший босыми ногами Юрий и хлопнул брата курткой.

Вышла Тоня — в пестреньком костюме с короткой юбочкой, волосы по лбу крутой челкой, — встретила глазами с Рассохиным, и они на мгновение остались вдвоем. У Рассохина от ее текучего, неопределенного взгляда родилось ощущение тревоги.

Тоня повязалась передничком и принялась дополнительно накрывать на стол. В завершение вынула из духовки еще сковородку — с румяной запеканкой, а к ней раскрыла банку тугих болгарских помидоров.

Софрон Софроныч, оказавшись с Тониным приходом не у дел, долго топтался возле стола, потом махнул рукой и принес откуда-то бутылку из-под шампанского — с крепко запечатанной настойкой.

Этот жест был встречен голосами одобрения. Бутылку тут же распили, «не поняли» и потребовали вторую.

Софрон Софроныч принес и вторую — застолье получилось на славу. Даже Шура отмяк, разговаривал со своим командиром без прежней угрюмости.

Глубоким вечером Рассохин сидел на штабеле досок, нервно курил, держа сигарету в кулаке. Порывы ветра выдували из кулака искры. Рядом на козлах возвышалась недостроенная лодка, светясь решеткой шангоутов.

Подбежала лайка, издалека понюхала Рассохина и легла — головой к ветру.

Сквозь решетку изредка вспыхивала низко скользящая луна. Была она багровой и нисколько не прибавляла света, который лился, казалось, из самых облаков. Рассохин отчетливо различал шевелящуюся под козлами белую щепу и в двадцати шагах пригибающиеся бутоны цветов — на черном стебле серебристо-черные колокольчики.

Тоня появилась неслышно, встала молча за его спиной. Не сказав ни слова, она пошла по тропочке — сначала над крутизной берега, а потом в глубь редкого кривого березняка. Он шел следом. Лайка настроилась было за ними, но вскоре с недоумением остановилась и повернула домой.

В березняке тропа исчезла, под ногами захрустел, запружинил мох, стало трудно идти. Рассохин нагнал Тоню; взяв под локоть, заставил остановиться.

Она глубоко дышала, темные губы ее были плотно, вызывающе сжаты.

Мхи дымились влажным, колодезным холодом. Шелестели листвою верхушки берез, где-то поскрипывали трущиеся друг о дружку стволы, гул близкой тайги то нарастал, то гас — словно растворялся в этих бесконечных моховых коврах. И при всем этом была такая тишина, что Рассохин, близко наклонившись к Тоне, услышал, как расклеились ее губы — для поцелуя.

— Ох, давай сядем, что ли, Витенька, — сказала она задохнувшись.

Присели на какую-то трухлявую колодину. У Рассохина оттого, что она впервые и так просто назвала его по имени, перехватило горло. Он стал потерян и неловок.

Тоня расстегнула ему плащ и, просунув руки, обняла его под плащом.

— Это твое сердце бьется, Рассохин? — спросила через минуту она и засмеялась.

Небо — все — продолжало светиться. В этом ночном сиянии без теней была для Рассохина какая-то завораживающая зыбкость: плавали над землей белесые пятна ягельника, а кривые деревца тянулись кверху, как струйки тумана. И молодая женщина, сидевшая рядом, и слушавшая руками его сердце, тоже казалась частью этой ночи — зыбкой и нереальной.

Они вскоре продрогли; Тоня жалобно сказала:

— Пойдем ко мне в медпункт, печку затопим.

12 Софрон Софроныч с младшим сыном Генкой спали в дальней

маленькой горенке. Гостям — Рассохину и Шуре — было постлано в большой прохладной комнате, на полу. Здесь же, на деревянном узком топчане, в углу между окнами, спал Юрий.

Шура, никогда не жаловавшийся на бессонницу и спавший всегда крепко, на этот раз проснулся среди ночи от шума, источника которого он не мог понять.

В окна струился дымчатый свет, проникая в углы. Брошенная посреди пола оленья шкура лоснилась вытертыми краями. Трубка стоящей на столе рации истекала графитным блеском, за ней на стене пестрели квадраты журнальных картинок.

Ветер не утихал, порывами давил в оконные рамы, так что рамы покрхтывали, и шуршала на стене оторванная картинка.

Но не эти звуки, ставшие уже привычными, разбудили второго пилота.

Он повернул голову: подушка рядом была пуста и даже не смята. С вечера, еще не ложась, командир сказал: «Пойду проведу машину». Значит, еще проводит, суду все ясно...

Шуре эта, как он называл, волынка с докторшей Тоней была не по душе. И не потому, что поведение Рассохина противоречило его, Шуриным, нравственным принципам. В конце концов, он не настолько глуп, чтобы навязывать свои принципы другому. Но и он не позволит делать из себя соучастника, черт побери!..

Когда Шура снова стал задремывать под мерные удары ветра, слышались звуки, похожие на то, как если бы душили одеялом человека. Шура в мгновение вспомнил, что разбужен он был именно этими загадочными звуками!

Он весь напрягся в слухе, и через какое-то время из угла, где спал Юрий, донесся скрип топчана и всхлипывающий вздох, напоминающий стон и заглушаемое рыдание одновременно.

«Кошмары ему снятся, что ли, может разбудить?» — с тревогой подумал Шура, как вдруг паренек отбросил одеяло, сел, всклопоченный, и закачался, как бедуин на молитве.

— У-у! — проклокотало из его груди. — У-у!

В известково-мглистом свете окон лицо его блестело от слез и было таким несчастным, что у Шуры от испуга и неожиданности поджались на ногах пальцы.

«Что с ним? — Шура глядел во все глаза. — Чего это он?!..».

Юрий между тем решительно прыгнул с топчана — был он без рубашки, но почему-то в брюках, — пошел через комнату к выходу. Дверей в комнатах дома не было — одни проемы — и Шура видел в проем: Юрий, продолжая приглушенно всхлипывать, потянул за стволы висевшую на рогах двустволку.

Ремень, вероятно, запутался, Юрий рвал ружье с рогов с иступленной яростью. Сорвав, он толкнул дверь плечом и исчез в дверях.

Шура окликнул его раз, другой, но тот не услышал.

А! — Шура вдруг в секунду, в какой-то миг озарения, понял все. Вернее — ему показалось, что он понял все.

И это «все» было так нелепо и ужасно, ошеломительно и в то же время так похоже на правду, что Шура вскрикнул и засучил ногами, выбираясь из спальника.

Он выскочил в сени и сразу увидел Юрия. Тот стоял, держа ружье в одной руке, другой шарил по карманам висящей на стене одежды: что-то искал.

Попытившись к выходу, он с той же гримасой ожесточенности и боли сказал сипло:

— Не подходи!..

Шура оторопел.

Такие же мгновения беспомощности и надвигающейся беды он пережил сегодня при их неудачном приводнении. Но сейчас все зависело только от него, от его решимости. Он прыгнул и с первого же прыжка ухватился за стволы, успев заметить, что курки не взведены.

Юрий пнул его ногой, но скользом, и они, сопя и хакая, стали выкручивать друг у друга ружье. Стукнул о пол и покатился выпавший из руки Юрия патрон.

Шура был ниже ростом, но физически крепче, коренастей и чувствовал, что ружья он теперь не выпустит.

И тут он услышал, как щелкнула зацепленная чем-то резинка трусов — курками, что ли?! — и трусы стали сползать. Чувство стыдливости, опередив здравый смысл, рефлекторно кинуло руку к сползающим трусам — и Юрий овладел двустволкой.

В отчаянии Шура схватил его, отбегающего, за ногу.

Юрий вдруг обессилел, обмяк и перестал сопротивляться. Он только дышал сквозь зубы и всхлипывал, повторяя: «Пусти... пусти... Ну пусти же».

Шура помог ему подняться и, крепкой обнимкой держа ему руки, повел в дом, уложил на топчан.

Потом вернулся в сени, нашел откатившийся патрон, а заодно разъединил ружье на две части — приклад спрятал в одном месте, а стволы в другом.

Юрий лежал в полуобморочном состоянии, изредка делая горлом нервные глотательные движения. Глаза его были крепко зажмурены.

Шура сел к нему на топчан, потер зашибленный при падении локоть.

— Ты что, так любишь ее? — спросил он тихо.

Веки паренька дрогнули, как от внезапной вспышки света, а в углах рта обозначилась уже знакомая Шуре ожесточенность. Он отвернулся, проговорил в стену, точно гвоздь вбил:

— Я все равно убью его.

Шура помолчал, спросил сочувствующе:

— Ну, а она-то хоть знает?

Юрий не ответил. Через минуту приподнялся на локтях — волосы слипшиеся, кожа на ключицах натянулась. Облизнув губы, заговорил отрывисто:

— Зачем он с ней? Ведь женатый, да. А если она... если я... я без нее жить не буду, ты понял? Никто об этом не знает, даже она. Ты первый... понял? — Говорил он грубо и некрасиво, кривя рот. Говорил и, должно быть, уже ненавидел себя за вдруг прорвавшуюся откровенность. — Случайно дотронулся до нее или она (он нервно сглотнул)... У меня потом это место... рука. Я руку, понял, целую! Смеешься, да? (Шура сидел как окаменелый). Мне осенью в армию, ладно. Два года — это не срок. Она бы дождалась...

— Пойми ты, чужак, она же ничего не знает, сам говоришь, — укоризненно заметил Шура. — А ты — армия, два года.

— Не знает, так узнает. — Он встрепенулся. — Только если ты хоть слово... понял?

— Нужен ты мне, — сказал Шура как можно равнодушнее. — Сам заварил, сам и расхлебывай.

— Ладно, не обижайся. — Юрий лег на подушку, стер со лба волосы. — Я, если честно — боюсь. Так — хоть надеюсь. А тогда... Скорее бы в армию: устал я возле нее. — Он замолчал, потом потянул к подбородку одеяло, пробормотал: — Ладно, глухо. Спать буду... — и затих.

При таком взрыве чувства и такая наивность. А может, для настоящего чувства и нужна наивность? — думал Шура, зарываясь в свой мешок и с удивлением ощущая в нем еще не выветрившееся тепло своего тела: а ему-то казалось — прошла вечность... Нет, ну Юрка-то, Юрка, кому Расскажи про весь этот кошмар — не поверит.

Потом Шура как-то непроизвольно, незаметно для себя, стал перебирать в памяти знакомых девушек и мысленно прикидывать: в какую из них мог бы он вот так же, с мальчишеским отчаянием и безрассудством влюбиться.

Но не вспомнил такой и вздохнул расстроено.

13 — Только чур, разуваться! — громким шепотом предупреди-

ла Тоня, садясь на высокий порог и снимая сапожки. — Моя Никифоровна с вечера моет. Увидит утром натоптано — скандал будет, ужас.

— А почему шепотом? — спросил Рассохин, на всякий случай оглядываясь.

— Мышей боюсь!

— Что, разбудим?

— Ага. — Она рассмеялась. — Давай спички. И прихватывай дрова, они тут, за дверью.

В низком и тесном домишке медпункта пахло старым деревом и аптекой. Белели на окнах марлевые занавески, поблескивал между ними шкаф с медикаментами.

Железная печка, набитая сухими лиственничными поленьями, взялась весело и дружно. Ало засветилась в суставах труба.

Тоня принесла из кладовой, бросила на пол перед печкой доху — аж занавески на окнах прыгнули (сказала: моя спецодежда на зимних выездах), легла на нее и, подперев кулачками щеки, стала смотреть на огонь.

— По-моему, в эту спецовку, — Рассохин повел выразительно носом, — заворачивали мужчин.

— Почему ты решил? — засмеялась Тоня.

— Табачищем прет, самосадам.

— А... Это Никифоровна с молью борется. Кстати, она тут за стеной живет.

— Понятно, глушу звук до предела.

Печка, раскаляясь, погромыживала боками. Когда в трубу ударял ветер, сквозь дверцу сыпались искры и, дымя, прыгали по железному листу, как черные ядра. Свет пламени скользил по Тониным рукам, лбу с морщинкой, залегшей вдруг между бровей, окрашивал в розовое раковинки ушей.

Рассохин лег на спину, обнял ее за шею и стал глядеть снизу вверх, все больше любя ее и одновременно угадывая в ней какую-то тревожную для себя перемену.

Он хотел поцеловать ее, но она сняла его руку и сама несколько раз прикоснулась губами к его щеке — быстро и как-то безрадостно.

— Витенька, а какая у тебя жена? — спросила Тоня, не отрывая взгляда от мелькающего в отверстиях дверцы огня. — Ну, внешне.

— Ну, такая, — смутился неожиданностью ее вопроса Рассохин. — Как тебе сказать...

— Симпатичная?

— Не знаю... В общем, да.

— В общем и целом, — подытожила Тоня.

Он снова хотел приобнять ее за шею, но она уклонилась, и рука его вяло слегла надоху.

Тоня потерлась щекой о его руку, сказала со вздохом:

— Ты, Витенька, горячий человек. Судя по твоей температуре, между нами никого нет. Весь наш с тобой мир — на этой дохе... Не открывай, пожалуйста рта, — быстрым шепотом предупредила она, — а то опять солжешь.

— Что с тобой? Где я солгал?

— А про жену. Она у тебя очень даже симпатичная. Я видела однажды... в аэропорту, мне показывали. Она кто — журналистка?

Умнеют не столько замужем, сколько уйдя из замужа, — с иронией к самой себе подумала она.

— Тоня, Тоня, это такой пустяк, мы с тобой не о том говорим, — взмолился Рассохин, привстал и приник лицом к ее лицу, но она снова слабым движением сказала: не надо и, точно глухая, продолжала:

— Ну скажи опять, что любишь, что жить без меня не можешь, что я единственная... Нет, молчи! Больше всех лжет тот, кто больше всех говорит о своих чувствах.

Она явно дурачилась, а может, просто издевалась над ним — за что? Он уже страдал от уязвленного самолюбия, ничего не понимал. Он только видел: происходит какая-то нелепость, какое-то, может быть, непоправимое недоразумение.

— Тоня, — сказал Рассохин хмурясь. — Мы должны решить.

— Что, Витенька?

— Ты сама знаешь.

— Ах, что я знаю! — с такой вспышкой горечи и отчаяния в голосе прошептала она, что Рассохину стало не по себе.

Печь уже раскалилась, светила малиновым боком, теплый воздух ходил волнами, и к запаху сухого дерева и аптеки примешался запах нагретой шерсти.

— Кажется, мы горим, — сказала Тоня озабоченно. — Давай отодвинемся.

Он сразу устал от ее близости, ее раздражающе-гладкой кожи и отблесков пламени в ее расширенных зрачках и рад был случившемуся предлогу: поднялся, отошел к окошку. И тотчас же почувствовал, как нестерпимо хочет курить.

Тоня посмотрела на его ссутуленную у низкого окошка спину и стала больно кусать кулачки, чтобы справиться с дрогнувшими губами.

Ветер дунул в трубу с продолжительным шуршанием, печь фыркнула дымом и загудела сильнее.

— У меня, Витенька, жених есть, — неожиданно легко соврала она и тут же сама почти поверила в свою ложь. — Хороший парень, на «Композиторе Бородине» плавает.

Рассохин следил за гипнотизированно за вспыхивающим в стекле двойным огоньком своей сигареты, мучительно старался понять: выдыхает?

— Теперь иди в дом, — сказала Тоня, голос был чужой напряженный. — Иди, я позже.

Рассохин с тщательностью затушил сигарету, сунул окурочек в спичечный коробок и пошел к дверям, споткнувшись о край дохи.

Он уже стоял на улице, шарил по плащу проклятые пуговицы, когда ему показалось, что Тоня тревожно окликнула его.

Он, колеблясь, повернулся, медленно и тяжело, боясь, что ослышался, переступил порог в темный коридорчик.

Тотчас голову его охватили мягкие Тонины руки. Она плакала и лепетала что-то бессвязное и горячее. Да он и не вслушивался в смысл слов, смятенный и обескураженный ее слезами. Она почти обвисла на нем, и он вынужден был поддержать ее, чтобы она не упала.

14 В семь утра, как всегда, начинался сеанс радиосвязи.

Перед потрескивающей разрядами, издающей тонкий мышинный писк аппаратурой горбился острыми лопатками Генка — полусонный и взъерошенный, — крутил верньеры настройки.

Шторм на озере стихал.

Тоня, с темными кругами у глаз, сидела рядом с мальчиком, покусывая губы, говорила:

— Геночка, родной, спроси так: когда приходит «Композитор Бородин». Запомнишь? Теплоход «Композитор Бородин»...

— Хорошо, тетя Тонь, ладно, — торопливо отвечал мальчишка, — конечно, запомню.

Он был немного напуган ее видом, дрожащим от подступающих слез голосом. Он видел: случилось что-то серьезное в их доме, но что именно — не понимал.

— Я Модуйка, я Модуйка, как меня слышите, прием, — затянул он в трубку высоким мальчишечьим альтиком.

Тоня сидела, облокотясь о край стола, стягивая у горла кофточку, точно от аппаратуры тянуло сквозняком.

Выяснилось: названный теплоход приходит в районный центр завтра вечером, в восемнадцать ноль-ноль, согласно расписанию.

— Будут ли завтра рейсы на Модуйку, — быстро подсказала Тоня.

Послушав трубку, Генка повторил ответ станции:

— Если дадут погоду. Запланировано три рейса.

Тоня вздохнула.

— Спасибо, Геночка, все. Теперь беги выручай своих глупых пичуг, нынче все сети на берегу.

Разгрузившись на пристани рыбозавода, они прошли, вспенивая волну, вдоль каменной корги, причаили к своим мосткам. Долго сидели при затихшем остывающем моторе, молчали.

Каждый из двоих по-своему, каждый со своей долей душевного потрясения пережил минувшие сутки.

Первым разбил молчание Шура, сказал, покачивая пальцем наушники на рогах штурвала:

— Виктор, тебе придется летать с другим пилотом. Я подаю рапорт о переводе. Извини.

Рассохин, скосив глаза, пристально поглядел на своего второго.

— Не за что, Шурик, — проговорил он и перевел взгляд вдоль, на лестницу, по которой торопливо сбежала фигурка — техник Пухначев, узнал он. — Скажи: сколько ты налетал часов? (Шура ответил). Ага, ну вот... Ты не думал, что тебе уже приходит пора пересаживаться в левое кресло?.. А что касается рапорта, то тут ты опоздал. Мой уже давно на столе командира.

Шура перестал качать наушники, брови и губы его задвигались, отражая какую-то внутреннюю работу. Пошарив в карманах, он вытащил и подкинул на ладони, словно взвешивая, медный ружейный патрон.

— Хочешь — подарю?

Рассохин недоумевающе скользнул взглядом, сказал рассеянно, думая уже о чем-то своем:

— Что ты, Шурик, я же охотой не занимаюсь, ты знаешь.

— Суду все ясно. — Шура усмехнулся снисходительно-сдержанно, отодвинул форточку и выбросил патрон в воду.

Когда он ушел из кабины, Рассохин взял планшет, положил на него раскрытый блокнот, помедлил секунду и стал писать — стараясь вывести буквы округло и твердо: «Командиру авиаотряда. Рапорт. Прошу ходатайствовать перед управлением о моем переводе...».

Заглянул в кабину техник Пухначев, весело крикнул:

— Здорово, командир! Живы?

— Живы, — откликнулся Рассохин. — А что толку...

СТИХИ—ДЕТЯМ

Александр Береснев

Еж

— Здравствуй, еж!
Куда идешь?
— К ежикам в поселок.
— Что несешь
В подарок, еж?
— Чемодан иголок.



Помощник

За околицей
С утра
Пашут поле
Трактора.

С неба дождь
Летит со снегом,
Ходит грач
За плугом следом.

Спрятались

Гром грохочет,
Словно пушки,
В воду прыгают
Лягушки:
— Не намочит
Нас дождем,
Дождь в болоте
Переждем!



От ходьбы устал
И вдруг
Прокатиться сел
На плуг.

Оглянулся
Тракторист,
Улыбнулся
Тракторист:

— Вот потеха,
Так потеха.
Грач пахать
Со мной поехал!



Шар

Я запускаю
Мыльные
Пузыри.
Летите, мои милые
Снегири!
Я выдуваю шар
Большой,
Он вертится,
Как заводной.
Я протянул к нему
Ладонь,
А он сказал:
Меня не тронь.
И улетел
Мой светлый шар,
О небо синее
Шурша.

На прогулке

Сонный, важный старый сад
Разбудили голоса:
Это вышел на прогулку
Круглощекий
Детский сад.
Горсть детей рассыпана,
Как горох.
Убегает тишина
Со всех ног!
Начинаем мы игру
«Кот и мыши».
Выбегай скорее в круг

Кыш-шь!
Сонный, важный старый сад
Смех и песни
Тормошат.
Мы сегодня на прогулке,
Мы — веселый
Детский сад.

Лиля

Трамвай,
Как всегда, торопился по делу.
В трамвае том
Девочка с мамой сидела.
И вслух эта девочка
Книжку читала.
Все знала,
Что в книжке,
А буквы —
Не знала.
— Как звать тебя, девочка! —
Люди спросили,
И пухлые губки ответили:
— Лиля.
— А годиков сколько?
И Лиля в ответ:
— Три годика есть,
А четвертого
Нет.

Вьюжица

Крутит, воеет вьюжица,
По дорогам кружится,
Вихрем завивается,
В щелки забивается.
Дует в уши малышу:
«Замету-у-у, запорошу-у!»
А мальчишка, как-никак,
Хоть и мал, да сибиряк.
Мчится с горки напрямик
На сугроб-пуховик.
Мама сына не узнала:
— Это что! — она сказала, —
Видно, вьюга прямо в дом
Прикатила снежный ком!



Осень

Дует ветер, морщит лужи,
Лужа ежится от стужи.
Лужу тополь пожалел,
В шубку желтую одел.



Тучи

Туча по небу плыла,
Туча толстая была,
Распузатые бока —
Не помять бы их
Пока.
А навстречу
Этой туче
Туча шла
Еще толстучей,
И сказала:
— Вон с пути!
Первой я должна
Пройти.
Но кричит ей та
В ответ:
— Мне другой дороги
Нет.
И сама, пыхтя от зла,
На подружку
Наползла.
И случилась тут
Беда:
Потекла из туч вода.





ДА, ПРОБЛЕМА

Информация: благо или зло?

Заметки о некоторых последствиях научно-технической революции

Два противоположных по своему характеру процесса становятся в наши дни поводом для серьезных тревог: истощение природных богатств планеты и бурный рост интеллектуальных ресурсов человечества.

Согласитесь, второе выглядит парадоксом, не правда ли? Ведь именно благодаря росту своих научных потенциалов человек обретает возможность раскрепоститься в своей зависимости от природы, восполнить многие издержки своего незначительного хозяйствования как раз сейчас, когда наступает горькое похмелье после длительного бездумного веселья на щедром пиру природы¹.

Так, может быть, нет оснований для тревог? И рост накапливаемых знаний—сплошное благо, которое поможет восполнить все потери? Не будем спешить с выводами. И рассмотрим лучше несколько иной «срез» происходящего.

¹ Экологический «взрыв», основной причиной которого явилась, мягко выражаясь, не совсем разумная эксплуатация природных богатств, послужил поводом к пересмотру взаимоотношений человека и природы. Мы не будем касаться этого вопроса, по которому есть очень богатая литература. Частичные аспекты этой проблемы освещал и наш альманах (см. очерк В. Травинского «Земной пейзаж» в № 3 за 1973 год). Интересующихся более глубоко можно отослать к таким изданиям, как И. И. Адабашев. Трагедия или гармония? М., «Мысль», 1973; И. Лаптев. Планета разума. М., «Молодая гвардия», 1973; Г. Юров. Трудженица Толь, Кемеровское книжное издательство, 1973.

Неудобство от... богатства

Необычный всплеск интеллектуальных потенциалов человечества и составляет сущность современной научно-технической революции, совершившей переворот в производительных силах общества.

Социально-экономические последствия процесса, ознаменованного превращением науки в непосредственную производительную силу, широко известны, и не о них речь. Наш разговор—об издержках НТР, о той неблагоприятной конъюнктуре, которая сложилась на современном рынке знаний, где предложения намного превышают спрос.

Повышение социальной роли науки, рост основных параметров ее развития привели к образованию серьезных противоречий между уровнем производства информации и возможностями ее переработки. Сегодня с тревогой говорят о кризисном положении в этой области. Ситуация, которую французы очень точно формулируют как затруднение от избытка.

Посудите сами. Согласно распространенным оценкам, в мире сейчас насчитывается свыше 100 млн. названий различных печатных работ, в том числе 30 млн. книг и 13 млн. патентов и авторских свидетельств. Номенклатура периодических изданий превышает 100 тыс. названий, в них ежегодно публикуется 4 млн. статей. В расчете на каждого специалиста в области науки и

техники издается ежедневно до 100 (!) печатных листов информации.

Несмотря на все более четко выражающиеся тенденции к ограничению объема публикаций, они продолжают неуклонно расти, угрожая приблизиться через несколько десятилетий по своей массе к массе земного шара.

Ситуация усложняется еще и тем, что публикациями не исчерпывается «рог изобилия» информации. Большая масса вновь созданной информации не попадает в широкий научный оборот, оседая в архивах (научные отчеты и другие непубликуемые документы). Ускорение темпов научного и технического прогресса приводит к росту и этих массивов, однако учесть этот рост практически невозможно.

Весьма распространенным пороком современной крупномасштабной науки Норберт Винер считал неуправляемость потоков информации, не попадающей в широкий научный оборот. «Если бы новая теория Эйнштейна,— писал он,— появилась в виде отчета в одном из научно-исследовательских институтов, много шансов, что ни у кого не хватило бы терпения разобраться в массе материалов, поступающих под той же рубрикой, и дать себе труд понять, что это такое»².

О темпах и масштабах развития науки и, следовательно, роста информационных потоков наряду с динамикой затрат на науку и структурными сдвигами в системе научных кадров могут дать представление изменения тиражей научных журналов и ежегодный рост числа опубликованных статей.

Тираж американской научной периодики, например, между 1949 и 1959 гг. увеличился на 51%. В последнее пятилетие отмечен рост на 15%. За десятилетие между 1949 и 1959 гг. число опубликованных статей возросло на 52% ежегодно. 71% научных изданий имеет тираж свыше 4 тыс. экз.

В этой связи очень важно подчеркнуть те экономические последствия, к которым приводят все возрастающее увеличение количества неиспользуемой информации. Подсчитано, например, что в США и Англии от 10 до 20% научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ дублируют уже выполненное.

В 1969 г. экономический ущерб по этой причине составил 1,25 млрд. долларов и 12 млн. фунтов стерлингов соответственно.

Исследования советского науковеда Г. М. Доброва показали, что в нашей стране удельный вес повторных «изобретений»

только в области угольного машиностроения возрос с 40% в 1946 г. до 85% в 1964 г.

Этот тезис очень легко, к сожалению, проиллюстрировать «местным» примером. Несколько лет назад Сибирским металлургическим институтом было затрачено свыше 25 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательской работы по неразрушающим методам контроля с использованием различных видов дефектоскопии. Провели соответствующие информационные разыскания и установили нецелесообразность продолжения работы: есть готовые решения.

Взрывное развитие информации обусловило рост печальной популярности в нашей прессе темы «изобретения велосипеда». По данным Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, более 50% авторских притязаний ежегодно признаются несостоятельными из-за отсутствия в них новизны.

«Задача выбора необходимой информации из мирового информационного потока, куда ежегодно вливается около 7 миллиардов страниц печатного текста,— пишет специалист в области истории и теории организации науки Ю. М. Шейнин,— становится с каждым поколением неизмеримо более сложной. Даже самый педантичный научный работник успевает сегодня знакомиться не более чем с 1/10 частью литературы, входящей в мире по его специальности. Подсчитано, что более половины фонда крупнейшего в СССР книгохранилища— Государственной библиотеки имени В. И. Ленина— остается втуне: миллионы названий поступающих сюда книг никогда не запрашиваются ни одним читателем»³.

Не случайно некоторые американские фирмы считают: если затраты на исследовательский проект не превышают 50 тыс. долларов, выгоднее повторить его от начала до конца, чем проводить соответствующее информационное разыскание.

Стремительно растущая информационная масса «работает», таким образом, с коэффициентом полезного действия в 4—6%. Чем же опасно такое положение?

Наряду с плохой организацией исследовательского процесса, такое недоиспользование прошлого опыта приводит к тому, что удвоение научного знания достигается ценой 15—20-кратного возрастания численности ученых и 30—40-кратного увеличения денежных ассигнований на науку. Комментарии здесь, увы, излишни!

Таковы лишь некоторые отрицательные

² Н. Винер. Я — математик, М., 1967, стр. 348.

³ Ю. Шейнин. Интегральный интеллект. М., «Молодая гвардия», 1970, стр. 104.

последствия того благотворного в своей основе процесса, который именуется современной научно-технической революцией, составляющие сетовать на то, что информации сейчас слишком много и в то же время досадно мало.

Парадокс состоит в том, что ускорение этого процесса как раз и становится возможным благодаря постоянному приросту научного знания. Последнее же, как мы уже видели, существенно снижает «управляемость» потоков информации.

Чем жив исследователь

Особенно остро информационный дискомфорт ощущается в науке, которая, как известно, строит свое здание на фундаменте знаний, накопленных предшественниками. (Вспомним Ньютоново «Если я видел дальше других, то потому, что я стоял на плечах гигантов»).

Исследовательский процесс представляет собой получение новой информации на основе переработки уже имеющейся. Используя идеи кибернетики, науку можно охарактеризовать как относительно обособленную информационную систему.

Французский кибернетик Луи Куффиньяль, например, рассматривает науку в целом как своего рода предприятие, состоящее из самоорганизующихся единиц. Сущность такого «предприятия» состоит в том, что оно представляет собой «сообщество людей, основным вкладом которых в предприятие является поставляемая ими информация».

Вот почему проблема информации приобретает в наши дни такую актуальность. Повышение информовооруженности — задача, пожалуй, даже более важная сегодня, чем рост механо- или энерговооруженности.

«Основное понятие, то, за чем сейчас больше всего гонится техника, уже не энергия, а информация...», — пишет действительный член Академии наук СССР Г. Наан.

Современная научно-техническая революция сместила акценты в известной триаде компонентов, необходимых человеку для производства продукции: веществе, энергии и информации. Только опережение последнего обеспечивает высокие темпы роста национального дохода, характерные для второй половины XX столетия.

«Информация становится проблемой экономической политики, проблемой государственной важности», — говорил академик

А. И. Берг в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды». — Для каждого из нас это своего рода пробный камень. По тому, как человек на деле относится к научно-технической информации, к средствам ее получения и переработки, можно судить, понимает ли он смысл перемен в народном хозяйстве, и оценивать, насколько он прогрессивен в технической политике.

В поисках выхода

«Себестоимость» получаемых сейчас наукой результатов очень высока и имеет тенденции к росту⁴. Это объясняется усложнением арсенала применяемых приборов и аппаратов (которые, к тому же, очень быстро подвергаются моральному старению), вовлечением в исследовательский процесс все большего числа людей. Наконец, в структуре этой «себестоимости» довольно существенны размеры трудозатрат ученых на поиск информации.

В наши дни исследователь, если он хочет получить ценные результаты (а какой исследователь этого не хочет?), вынужден тратить на это до половины своего рабочего времени. Без сложных логических построений ясно, что освобождение его от этой работы равноценно увеличению числа научных работников.

В этих условиях трудно переоценить эффект хорошо поставленного информационного сервиса, являющегося своеобразным ускорителем научно-технического прогресса.

Существующие тенденции к росту потоков информации и, следовательно, к увеличению затрат труда на поиск предопределили новое общественное разделение труда. Потребностями общественной практики порождена новая специализированная область приложения труда — научно-информационная. Расширение масштабов научно-информационной работы обусловило и становление новой научной дисциплины — информатики, изучающей основные закономерности процессов аналитико-синтетической переработки информации, ее рассеяния, старения, оптимальных способов ее представления и т. д.

Она возникла на базе ряда естественных, гуманитарных и технических наук, таких, как математическая теория информации, кибернетика, семиотика, математическая ло-

⁴ «Это дорогая современная наука», — назвал английский профессор Кеннет Мелланби свою статью в журнале «Нью сайентист», перепечатанную «Литературной газетой» 10 апреля 1974 г.

гика, психология, книговедение и др. Становление информатики хорошо иллюстрирует одну из основных тенденций в развитии науки — интеграцию научного знания. По этой же модели идет сейчас формирование еще одного молодого научного направления — науковедения, которое исследует взаимодействие различных элементов, определяющих развитие науки как особой сложной системы. Появляется новый тип ученого, объектом исследования которого становится информационный потенциал документа.

Единая государственная

Итак, мы с вами установили, что научный прогресс сопровождается серьезными сдвигами в организации информационного процесса, содержание которого несколько шире создания и накопления информации. Сюда входят и операции поиска, систематизации, аналитико-синтетической переработки и последующей ее передачи в рамках единой системы, составляющей своеобразный тыл современного общественного производства, или, как его принято называть, информационно-коммуникационную инфраструктуру.

Применительно к науке правомерно говорить о специализированной системе средств научного общения — информационно-коммуникационной структуре науки⁵. Здесь существенное значение приобретают еще и неформальные каналы научной коммуникации (обмен оттисками статей или докладов между членами так называемых незримых коллективов, симпозиумы и конференции, группы обмена информацией, посещение лабораторий своих коллег и т. д.). По данным некоторых исследователей, около 1/3 научной информации передается по неформальным каналам.

Тем не менее, книга и журнальная статья еще долго сохраняется в качестве основного источника получения информации. Кстати, «изобретение» научного журнала само по себе явилось важным фактором быстрого роста престижа науки.

Видный американский науковед, руководитель отделения истории науки и медицины Йельского университета профессор Дерек Прайс на большом статистическом матери-

але показал, что с 1665 г., т. е. со времени появления первого научного журнала, число ученых удваивалось приблизительно каждое десятилетие.

14 июня 1921 г. В. И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «О порядке приобретения и распределения заграничной литературы». Была создана комиссия по закупке и распределению заграничной литературы и таким образом положена основа будущей государственной системы научно-технической информации.

Анализ развития этой системы показывает, что основной тенденцией здесь была постепенная специализация информационных органов. Отраслевое управление народным хозяйством страны, осуществляемое сейчас, окончательно закрепило эти тенденции.

Сложившаяся государственная система научно-технической информации в кибернетическом плане представляет собой сложную иерархию подсистем с различными уровнями управления.

Ее составляют 7 всесоюзных научно-исследовательских институтов по информации, 82 центральных отраслевых, 15 республиканских и 60 межотраслевых территориальных органов информации.

На нижней ступени информационной иерархии находятся службы научно-технической информации предприятий и организаций. Здесь особенно ответственна роль отделов научно-технической информации исследовательских и разрабатывающих организаций (вспомним уже упоминавшуюся информационную концепцию науки).

Всего в системе научно-технической информации страны занято около 150 тыс. специалистов.

Крупнейший национальный информационный центр — Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ) АН СССР и Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике в настоящее время обрабатывает свыше 22 тыс. отечественных и зарубежных научно-технических журналов и периодических изданий, поступающих из 120 стран мира на 65 языках. Реферированием этой информации, кроме штатных сотрудников, занимается более 25 тыс. ученых и специалистов.

Выпускаемый этим институтом Реферативный журнал охватывает 172 раздела науки и техники. Здесь ежегодно публикуется свыше миллиона рефератов.

ВИНИТИ является головной организацией страны по разработке теоретических

⁵ О сдвигах в средствах общения, в т. ч. научного, см. Ю. Шейнин. Интегральный интеллект. Сб. «Горизонты науки и техники», С. Владимиров, М. Карев. Информация и мы.

проблем информатики. В этом институте координируется работа всесоюзных, центральных отраслевых, республиканских и территориальных межотраслевых информационных органов по созданию механизированных и автоматизированных систем научно-технической информации.

Укреплению информационных связей в системе наука — производство способствует созданный несколько лет назад Всесоюзный научно-технический информационный центр (ВНИИЦ), который обеспечивает предприятия и учреждения сведениями о выполняемых и законченных научно-исследовательских работах и защищенных докторских и кандидатских диссертациях и высылает по их запросам полные тексты отчетов и диссертаций. Небезынтересно отметить, что около 50% запросов в Центр поступает от предприятий.

Новый Вавилон?

Мой бывший сослуживец, сетуя на трудности розыска в библиотеке института необходимой книги, любил вспоминать заведующую библиотекой одного южного завода, где он работал до войны. Столь добрая память, оказывается, была заслужена способностью этой женщины очень быстро находить на полке любую книгу по довольно своеобразной информационно-поисковой «системе»: назывался цвет обложки и ее примерный формат, и этого было достаточно.

Даже если исключить количественный рост продукции полиграфистов, палитра их переплетных возможностей настолько обогатилась, что в современном многоцветье обложек оказалась бы беспомощной даже упомянутая работница.

Но не будем ее обвинять. Ведь в современной библиотеке, где существенно изменилась фондовая ситуация, процветают традиционные методы, разработанные задолго до возникновения нынешнего информационного кризиса.

Поиск и обработка необходимых документов ведутся вручную практически во всех низовых информационных службах. В этих условиях трудно обеспечить оперативное удовлетворение запросов потребителей информации.

На смену этим методам приходят автоматизированные информационно-поисковые системы, реализуемые на ЭВМ. Ко многим профессиям компьютера прибавилась еще одна — поисковая.

Вышла на реальное обслуживание потре-

бителей автоматизированная информационно-поисковая система (ИПС) в электро-технической промышленности. Она работает в двух режимах: избирательного распределения информации и ретроспективного поиска.

В отрасли приборостроения успешно функционирует система «Реферат», есть уже автоматизированные системы в легкой, химической и других отраслях промышленности.

На протяжении нескольких лет выдает «продукцию» система «Квантор» в Кемеровском территориальном центре научно-технической информации. Кстати, по образу и подобию системы наших земляков оснащаются все межотраслевые центры Российской Федерации.

Есть и другие примеры. Но они отнюдь не означают скорого наступления эдакого информационного эдема. В обозримом будущем низовые информационные службы по-прежнему будут вести ручной поиск. Ведь в условиях небольших массивов использование дорогостоящих ЭВМ приближается к известной процедуре стрельбы из пушки по воробьям.

И еще. Разработка и внедрение информационно-поисковых систем различного уровня и различной отраслевой специализации создают предпосылки к образованию многочисленных языковых барьеров — своеобразного машинного варианта вавилонского столпотворения. Разрабатываемый для каждой системы информационно-поисковый язык, различные способы записи информации на внешнюю память машины исключают возможность прямого «общения» двух систем.

В условиях широкого взаимопроникновения, интеграции наук, возникновения новых научных направлений на стыке нескольких наук трудно себе представить существование замкнутого фонда с достаточно представительным массивом информации, способным удовлетворить все информационные интересы потребителей. Следовательно, необходимость обращения к «чужим» массивам по мере развития науки и техники будет возрастать.

Даже при наличии хороших каналов связи, позволяющих оперативно передать информационный запрос в «стороннюю» службу информации, его перевод на принятый в этой системе язык сопряжен с затратой такого количества времени, которое не компенсируется и быстродействием информационно-поисковой системы. Все это в значительной мере снижает эффективность информационного процесса.

Есть ли выход?

Один из них видится в создании интегрированной государственной системы научно-технической информации. По нашему мнению, она должна представлять собой сложную иерархию отраслевых и межотраслевых информационно-поисковых систем различных уровней, реализуемых на ЭВМ с унифицированным периферическим оборудованием (магнитными лентами, вводным и выводным устройствами).

Коммуникабельность ИПС различных уровней и специализаций, т. е. их способность общаться, обеспечивается общим языком, что предопределяет совместимость систем кодирования и программирования, принятых для разных машин.

Интегрированную систему научно-технической информации целесообразно организовать по образцу создаваемой в стране Единой государственной системы вычислительных центров (ЕГСВЦ).

На нижней ступени такой системы должны находиться информационные службы предприятий и организаций (научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро и т. д.). В зависимости от масштабов этих организаций и размеров их информационного потенциала предусматривается создание собственного информационного массива или дублирование справочного аппарата справочно-информационного фонда головной организации.

На второй ступени системы — территориальные центры НТИ, комплектующие свои справочно-информационные фонды только документами межотраслевого характера⁶. Информационный массив этих центров создается на машиночитаемых носителях, позволяющих реализовать поиск на ЭВМ.

Третью ступень иерархии образуют центральные отраслевые институты научно-технической информации.

Венчает систему Всесоюзный институт научной и технической информации, который, кроме работы по изданию реферативных журналов, комплектует справочно-информационный фонд по фундаментальным наукам (на базе Государственной публичной научно-технической библиотеки СССР и Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина) и координирует всю научно-исследовательскую работу в области информатики.

⁶ Документом в информатике принято называть материальный объект, содержащий закреплённую информацию, и предназначенный для ее передачи и использования.

Требуются новые идеи

Становится очевидным, что все усиливающемуся кризисному состоянию на рынке информации необходимо противопоставить принципиально новую технологию ее поиска, переработки и передачи.

На подступах к этой новой технологии предстоит решить ряд крупных проблем, относящихся к компетенции информатики и других научных направлений. Здесь прежде всего следует отметить такие вопросы, как изыскание оптимальной формы представления информации, разработка совместимых информационно-поисковых языков и адаптивных автоматизированных систем поиска информации, надежных способов и средств машинного перевода и др.

Очень важной представляется проблема разработки терминологической системы информатики, отражающей уровень зрелости любой науки.

В ряду перспективных направлений развития техники обработки документальной информации и ее поиска — автоматизация процесса индексирования и полный отказ от него с переходом на поиск по «открытому» тексту (интересный опыт накоплен в этом направлении американской фирмой Интернэшнел Бизинс Мэшинз).

Не менее интересное направление — разработка систем информационного поиска в форме диалога с ЭВМ, работающей в режиме разделения времени. В таких системах потребитель информации слает запрос в справочный пункт, расположенный по месту его работы, и через несколько секунд получает требуемую информацию. Система позволяет на видеозэкранах справочных пунктов получить изображение полного текста документа или осуществлять дистанционное заказывание информации.

Значительно улучшатся основные параметры репродукционного оборудования, дающего возможность воспроизводить различную графическую и текстовую информацию. Рост его быстродействия будет сопровождаться уменьшением габаритов и веса аппаратуры, что позволит более широко встраивать ее в качестве интегрального звена в автоматизированные информационные системы. Дальнейшее развитие получит дистанционная ксерография: копии необходимой документальной информации можно будет получать на расстоянии.

Улучшатся техника и технология микрофильмирования и параметры аппаратуры для чтения микрофильмов. Появятся новые

типы фотопленок, позволяющие значительно уплотнить размещение микроизображений (некоторые экспериментальные разработки в этой области уже сейчас дают возможность размещать 2,5 млн. единиц информации на площади 6,5 кв. см).

Особенно перспективно совместное применение микрофильмирования с ЭВМ, повышающее эффективность автоматизированных информационных систем.

Есть основания ожидать значительных изменений в структуре библиотек в связи с перспективами развития микрофильмирования.

Разумеется, даже самая совершенная организация информирования не избавит исследователя и разработчика от необходимо-

сти самому знакомиться с литературой, однако они будут освобождены от трудоемкого процесса ее поиска и систематизации. Впрочем, частичное решение задачи переработки информации (функция исследователя) видится в существовании принципиально новых информационных структур — Центров анализа информации.

Как видим, резервы повышения интенсивности интеллектуального труда еще далеко не исчерпаны.

Нынешний информационный кризис является продуктом все ускоряющейся научно-технической революции. Прогресс науки порождает неуправляемые потоки информации. Он же и создает способы и средства их обуздания. Такова диалектика развития.





ШИШКАРЬ

Этот случай произошел со мной в 1962 году. Я тогда только перебрался в Кузбасс из южных краев, не бывал в тайге, слыхом не слыхал о курумниках и даже о кедрах имел самое смутное понятие.

В июле друзья мои Иван Петрович и Женя решили показать мне все это, предложив порыбачить на одной из красивейших, по их словам, речек Кузнецкого Алатау — Казыре.

В дословном переводе с шорского Казыр — это «непокорная река». Весной, в половодье, она, говорят, и впрямь грозно и свирепо бушует, грохоча многотонными валунами, подтачивая и обрушивая монолитные скалы. Сейчас же перед нами была сравнительно мирная и спокойная речушка шириной метров пятнадцать-двадцать, и созданный моим воображением авторитет Казыра несколько поколебался.

— Ну вот, здесь и перекусим, — объявил Иван Петрович, свернув к огромному, в несколько обхватов, дереву. — Ничего себе кедрашечка, а?

Так вот он каков таежный красавец! Гордо и независимо возвышался он над всем остальным лесным миром, словно подчеркивал царской этой осанкой свою близость к солнцу. Светло-зеленая хвоя его длинна и мягка. Я скинул рюкзак, пригнул нижнюю ветвь, провел ею по лицу. Хвоя не кололась ни капельки, она будто бы сама нежно и матерински ласково потрепала меня по щеке, приветствуя мое появление в далекой этой стороне и принимая как своего.

Иван Петрович отломил сухую ветку, припал в костре кончик, прикурив от него,

затянулся, молвил блаженно:

— От кедрашки прикурить совсем иной смак.

— Скоро от осины будешь прикуривать и радоваться, — усмехнулся Женя.

Иван Петрович промолчал, а я поинтересовался:

— Почему?

— Охотников на него слишком много поразвелось. Одни шишкарки чего стоят...

— Какие шишкарки?

Женя кивнул на Ивана Петровича:

— Его вот спроси, он лучше меня о них знает.

Ведь что они делают! Чтобы добыть шишку, а затем вышелушить из нее орешки, да добыть побольше и побыстрее, на какие только ухищрения не пускаются. Шишка-то растет высоко, на самой вершине, добаться до нее не просто — иной кедр что тебе телевизионная вышка, вот и шуруют, кто во что горазд. Бьют по стволу кузнечными кувалдами в надежде, что созревшая шишка сама упадет на землю, накидывают на вершинку петли, тянут, сгибают дерево, обламывают при этом ветви, а подчас и самое вершинку.

Попадают среди шишкарей и такие, которых иначе как преступниками не назовешь. Браконьер — слишком мягкое для них словечко. Вооруженные топорами и пилами, они просто-напросто сваливают дерево, обламывают шишку, а кедр остается гнить. Так вот и гибнет таежный красавец, кормилец белок, глухарей, рябчиков и многих другой живности.

Почти двадцать километров прошли мы в тот день по окатистым курумникам —

превратившимся в каменную осыпь скалам, по едва заметной, нехоженной еще в этот сезон тропе, пока добрались до развилки Большого и Малого Казыров, перебрались на зеленый мыс водораздела, выбрали местечко, где побольше сухостоя для костра, и разбили лагерь.

Проснулся я первым, и хотя спал каких-то пять-шесть часов, ощутил себя хорошо отдохнувшим, бодрым.

Вылез из палатки, пошел к речке. Только-то начинало светать. Все кругом виделось еще пасмурным, расплывчатым. Дымка тумана обволакивала прибрежные кустарники, скрывала торчащие из воды валуны, и только по бурлящим звукам стремительной реки можно было догадаться о их существовании.

И все это — дымка, речной клеткот, начинающее розоветь небо, первые робкие трели просыпающихся птиц, знобкая утренняя прохлада и ледяная, необыкновенной чистоты вода создавали совершенно новый для меня мир, о величии и простоте которого я и не подозревал.

И вдруг весь этот мир разрушился, разлетелся на кусочки в тот миг, когда туман немного рассеялся, и на том берегу я увидел... шишкаря.

Да, это был представитель того самого племени шишкарей, о которых рассказывал вчера Иван Петрович. Что он, негодяй, творил с деревом! Он был здоров, видимо, этот шишкарь и ловец. Он проворно взлезал на самую вершину, молодое дерево не выдерживало тяжести его тела, сгибалось почти до земли, а шишкарь, намертво вцепившись в слабенькую вершинку, тряс его изо всех сил.

Клокочущая река глушила звуки того берега, но мне казалось, что я слышу хруст ветвей, глухие удары шишек и ликующие возгласы браконьера. Я видел только его массивную фигуру, а мне казалось, что я вижу его глаза в жадном прищуре, охочие до наживы, злые и беспощадные.

Он отпустил, наконец, вершинку. Дерево,

выпрямившись, затрепетало, а шишкарь, как ни в чем не бывало, стал на четвереньки и начал шарить в траве. «Ага, шишки собирает!» — подумал я. И побежал к палатке.

— Братцы, вставайте... Вставайте, братцы... Тут такое, такое... — Я тормозил сразу обоих.

Очнувшись ото сна, друзья не на шутку испугались, — мало ли какой сюрприз может преподнести тайга! — выскочили из палатки, причем Иван Петрович не забыл прихватить и двустволку, предварительно проверив, загнаны ли патроны в патронник.

— Ну что? — шепотом спросил Женя, озираясь по сторонам.

— Вон, глядите... Шишкарь... браконьерничает...

А шишкарь мой делает между тем какое-то умопомрачительное сальто и снова лезет на дерево.

— Видали?!.

Друзья мои, присмотревшись, начинают медленно оседать, валяться в траву и хохочут. Иван Петрович громко, раскатисто, Женя — тонко, со всхлипами.

Я в недоумении смотрю то на них, то на шишкаря, который успел опять изрядно трепануть пригнутую к земле вершинку, и тут неожиданно вспоминаю, что кедровые шишки вызревают в сентябре, а в июле шишкарям делать в тайге нечего. Так чем же занимался этот проклятый браконьер?

Мой шишкарь оказался пестуном — годовалым медведем, решившим поутру поразмяться.

Ну, о том, как потешались над моей оплошностью друзья, я говорить не буду, вы сами можете себе это представить. Но вот что интересно — сколько потом я ни бродил по тайге: и в Саянах бывал, и на Алтае, и на Севере, где медведей, по рассказам жителей, как собак нерезаных, один ходил и с товарищами, с ружьем и без ружья, а больше повидать косолапого не удалось. Даже издали. Следы видел, лепешки, малину объеденную, а вот самого — нет. Пугливый зверь, уходит от человека.

ПОДВОДНЫЙ ДОМОСЕД

Тогда же, на Казыре, я впервые познакомился с удивительной рыбой — хариусом, и с тех пор никакая другая рыбалка меня не привлекает. Я готов плыть, лететь или ехать за сотни, тысячи километров, лишь бы вновь и вновь ощутить хищную горячность его поклевки, померяться с ним силой и сноровкой, испытать упругость нового удила, крепость лески и цепкую ухватистость кованого крючка.

Конечно, другой рыболов станет спорить, доказывать преимущества и увлекательность ловли, скажем, на леща или шереспера. Но он не вкусил всей прелести охоты на хариуса. Да-да, я не оговорился. Именно — охоты. Хариус — хищник, причем хищник умный, тонкий, с разбором. На мякине, даже сдобренной пахучими анисовыми каплями, его не поведешь. Никакие перловые и прочие каши его не привлекают. Ему подавай наживку стоящую — личинку ручейника, вытященную из ее песчаного домика, кусочек паука или овода, только что пойманную муху или червяка, обязательно целого, не очень крупного, чтобы червяк этот на крючке червяком извивался.

Только неопытного рыбака никакая наживка не выручит, если он будет сиднем сидеть на берегу или прибрежном камне и ждать, когда хариус клюнуть соизволит. Тут иное умение нужно.

Ранней весной, отсидев зиму в глубоких омутах и ямах больших рек, хариус устремляется в бурлящие, мелководные, но всегда холодные и снежные чистые горные речки. Его не смущают ни бурное течение, ни двухметровые водопады, ни грохот валунов и каменных осыпей. И только ленивые да хворые обитают возле устья, подрывая свое здоровье в тепловатой и чаще всего мутной воде.

В то утро, когда я медведя за шишкаря принял, друзья мои, позавтракав, подались вверх по Казыру за «крупняком-чернышом»,

а мне доверили сторожить лагерь, милостливо разрешив рыбачить возле него, — дескать, для начала с тебя и этого предостаточно.

Я размотал удочку, пристроился, как это обычные рыбаки делают, на удобном плоском камне, подстелив брезентовку, чтоб не холодило, насадил червяка, поплевал на него, забросил. Течение сразу же подхватило и понесло поплавок. Ну что это, думаю, за рыбалка. То ли дело на озерке или неторопливой речке с тихими заводями — закинул удочку, сыпанул горсти две прикорма и сиди себе, покуривай да посматривай на точеный поплавок, жди поклевки. А тут ни минуты тебе спокойной. Не будешь же держать лесу на течении, когда стремительная вода выносит на поверхность даже тяжелое грузило.

Поднимаю удочку, ловлю поводок. Крючок пуст. А ведь никакой поклевки не было. Снова насаживаю червяка, снова забрасываю. История повторяется. Только теперь показалось мне, что проплывая возле остроцкого камня поплавок на миг, на один лишь миг замер, словно испугался этой каменной стенки с пенистым буруном, и побежал дальше. То же происходит и в третий и в четвертый раз.

Я начинаю нервничать. Рыба, какой бы сноровистой она ни была, снять на такой скорости червяка, не потопив поплавок и не попавшись на крючок, по моему разумению, не может. Или течение тому виной? Ребята оставили мне всего-то десятка полтора червяков, и если я так бездарно их разбазарю, то не будет мне никакого прощения. Червей мы копали в Междуреченске, — в тайге ими не очень-то разживешься, — берегли их в дороге больше чем самих себя, перебирали, подкармливали, через мох пропускали и потому каждый червяк был на строгом учете. Недаром, когда Женя отсыпал мне из своего мешочка червей, у него мелко дрожали руки.

Решаю забросить в пятый и последний раз. Но сейчас поплавок пронесется мимо камня, не замирая, и червяк остается целым. Значит, не течение. Значит, рыба, рыба-молния, — иначе ее не назовешь, — воспользовалась моей неопытностью, насытилась и помчалась дальше искать такого же разиню, как я.

Спускаюсь пониже, где Казыр делает крутой поворот и за скальным выступом образовалась довольно тихая заводь. Вода здесь не течет, а крутится по спирали, удерживая поплавок посередке. Мне не приходится беспрестанно вытаскивать и закидывать удочку, но и толку от такой рыбалки никакого.

Проходит полчаса, час — и хоть бы какая тебе рыбешка на наживку польстилась. Встаю, иду на мысок, даже в воду забрел метра на полтора, забрасываю и не успеваю отыскать глазами прыгающий в бурнчиках поплавок, как чувствую, что кто-то прямо-таки рвет у меня из рук удилище.

Зацеп или?..

Тяну... Леска напружинилась, бамбуковое удилище согнулось до предела, вот-вот треснет. И тут из воды показывается удивленная рыба голова, затем сверкающее на солнце туловище. Хариус! Да не какой-нибудь, а матерый, из тех, что за темную полосу на широкой спине прозывают чернышами. Он висит на леске неподвижно, словно оглушенный. Фиолетово-синий плавник растопырен, акулий хвост опущен, щеки плотно сжаты, крупная, в крапинках, чешуя переливается всеми цветами радуги.

Я осторожно опускаю драгоценную ношу на прибрежный песок, кладу удилище, выбираюсь из воды, и только прикасаюсь к рыбине, чтобы освободить ее от крючка, как хариус, словно опытный и хитрый боец, выходящий из партера, неожиданно взмывается, делает великолепное сальто-мортале и плюхается в воду, обдав меня мелким дождем холодных брызг.

Ошеломленный таким вероломством, я все же успеваю схватить змейкой бегущую в воде леску. Теперь борьба начинается на

равных. Хариус в своей стихии, я — в своей. Он крепко сидит на крючке, я же намотал лесу на кулак и уперся ногой в полузатонувшую булыгу. «Врешь, — кричу, — не уйдешь!» — и то отпускаю, то подтягиваю лесу. «Я тебя, — думаю, — так измотаю, что ты мне сам приплывешь в руки». Но хариус, видимо, был стратегом, сразу же разгадал все мои намерения, и когда я вновь натянул леску, свечой выкинулся из воды, кувыркнулся в воздухе, леска звенькнула, а я шмякнулся на каменистый берег.

На конце лески вместо хариуса болтался обрывок поводка.

В горячечной злости, весь кипя от обиды, я схватил подвернувшийся под руку камень и швырнул его в реку. Потом покурив, уняв нервную дрожь, без особого аппетита съел кусок хлеба с салом, сделал новый поводок и решил продолжать испытывать свое рыбацкое счастье.

До прихода друзей мне удалось-таки выловить хариузенку граммов на двести, не идущего, конечно, ни в какое сравнение с тем, оборвавшим поводок, хариусом.

— Ну что ж, — сказал Иван Петрович, прикидывая на ладони вес моего улова, — и то рыба. С первым тебя!

Женя тем временем снял с плеч тяжеленный рюкзаки и вывалил в траву десятка два чернышей. Я не удержался и поведал свою сегодняшнюю историю.

Женя саркастически усмехнулся — врл, мол, да не завирайся, знаем мы эти срывы, когда в сумке пусто. Иван же Петрович отнесся к моему рассказу серьезно и даже спросил, в каком месте и за каким камнем позарился на мой крючок богатырь.

Мы славно поужинали в тот вечер. Я наконец-то отведал ароматной, наваристой, подернутой золотистыми блестками жира хариузиной ухи, в которой был и мой маленький вклад. Иван Петрович долго шарил в ведре половником, пока выловил моего хариузенка: «Своего первого сам съесть должен». Нежное мясо тает во рту, хариузенки в тот момент показались мне совсем

маленьким, и я принялся за чернышей, с болью вспоминая об утреннем происшествии.

Проснулся я от какого-то сторожкого шепуршанья. Женя храпел рядом со мной, а Ивана Петровича в палатке не было. Я поднялся, выглянул. В сумеречной еще темноте начинающегося рассвета я разглядел сутуловатую фигуру Ивана Петровича. Одетый уже и обутый, он перебирал брошенные в траву удилища, не находя, видимо, своего.

— Вы куда? — шепотом спросил я.

— На кудыкину гору, — также шепотом ответил Иван Петрович. — Спи, рано еще.

Я хмыкнул и полез досыпать. В конце концов, у каждого человека свои причуды.

Мы с Женей приготовили завтрак, когда из прибрежных тальников вышел Иван Петрович. Он нес взятую под жабры здоровенную рыбину. Подойдя к кострищу, Иван Петрович положил рыбу у моих ног.

— Возьми, да не теряй больше.

Я не сразу понял, к чему он это сказал, и, только взяв хариуса в руки, увидел свисающий из его рта обрывок моего поводка с грузилом из свинцовой полоски. Жало моего крючка торчало из ноздревго отверстия.

Это казалось невероятным. В такой реке выловить именно мою рыбину! Я смотрел на Ивана Петровича как на бога. А он спокойно уплетал разваристую пшеничную кашу и, посмеиваясь, рассказывал:

— Сторожился, чертяка, ох, как сторожился. Да ведь оно хоть и крючок в ноздре, а жрать-то хочется. На червяка, правда, не смотрел, пропускал мимо. Второй раз на одну и ту же наживку попадаться — это только дурак окунь мастак. Ну, я ему гирляндочку из мелких червей подкинул. Попробовал, но заглотить не решился. Тогда я паута вчерашнего, ничего, не высохли еще. Снял с крючка. Я второго — опять снял. А ведь во рту-то у него поводок. И ничего, ухитрялся...

— Ручейника бы попробовал, — сказал Женя.

— Его-то я и приберег напоследок, когда у него аппетит разгорится. Вот он и не выдержал, хапнул ручейника.

Они говорили так, будто речь шла не о рыбе в вольной воде, а будто сидел этот самый хариус в тесном аквариуме и ждал, скоро ли перед носом вкусная пища появится.

Я и сказал об этом Ивану Петровичу.

Иван Петрович доскреб кашу, отправил ее в рот, кинул взгляд на лежащего у моих ног черныша.

— Именно — ждал. Хариус — рыба домовитая, не какой-нибудь там шереспер, — шереспер, кстати, было самым ругательным словом в лексиконе Ивана Петровича. — Когда хариус по весне в верховья поднимается, он не просто тебе как дурак прет, лишь бы вперед. Он себе место выбирает. Правда, ему, как и человеку, кажется, что чем дальше, тем лучше. Ну, те, что по сильнее да поновористей, чуть не до истоков доходят. А глубины ему особой не надо, он и на мелководье отлично живет, была бы струйка похолодней да почище. И камушек ему нужен. Про озерного хариуса не скажу, не лавливал, может, он там и стаями по всему озеру бродит, а вот наш, речной, как камушек себе облюбовал, стал за ним на быстринке, чтоб половчее ему было всякую мошкарку ловить, так до самой осени никуда... Наестся, спустится в ближайший омут, с соседями парой слов перекинется, про рыбаков-неумех расскажет, передремлет на спокойе — и опять за свой камень. Вот оно как... А ты — аквариум!..

Я слушал Ивана Петровича, глядя на полуметрового черныша-красавца, и мне почему-то жаль стало его, такого степенного, мудрого и сильного домоседа. Хотя, честно говоря, какая бы ему дальше жизнь с моим крючком и обрывком поводка из несъедобной капроновой лески...

М. Кушникова

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО, или житие окладного поселенца Ивана Федорова

Перед нами дело окладного поселенца Ивана Федорова — одно из довольно обычных дел 50-х годов прошлого века. Ему 123 года. Оно найдено много лет назад в Тисуле, на чердаке дома, который принялись ломать.

Эти одиннадцать ломких от времени страниц гербовой бумаги с водяным знаком двуглавого орла представляют собою исследование. Его проводили люди, заинтересованные лишь в одном: возможно меньше обеспокоить судьбой безвестного окладного поселенца Ивана Федорова целую иерархию начальственных лиц, на вершине коей стоял полумифический для самого жалобщика генерал-майор маркиз де Траверсе, владделец золотых приисков.

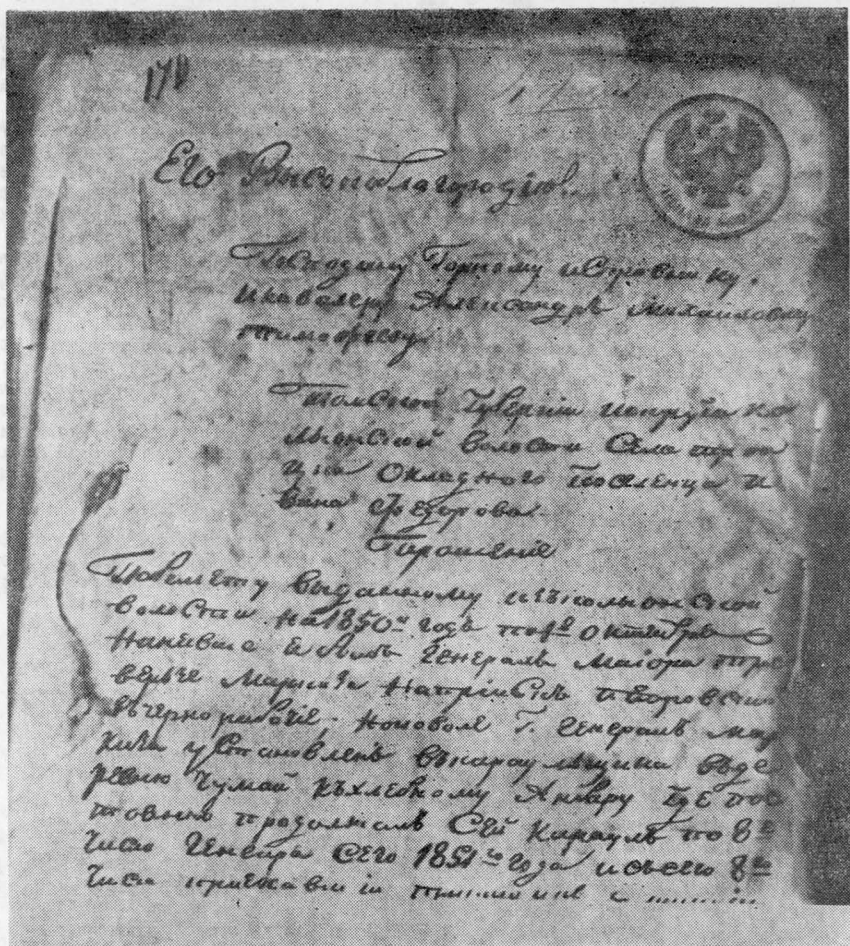
А теперь перед нами «История Кузбаса», издания 1967 года. В конце XVII века, читаем мы, под Кузнецком жило определенное число «гулящих людей, осевших в уезде, но не записанных ни в состав посадских людей, ни в состав крестьян». Позже из них набирают рабочих алтайские рудники и заводы, благо, правительство разрешило приписывать к заводам пришлых и беглых людей. Приписные отрабатывают на заводах подушной оклад, которым были обложены в крепостной России все крестьяне «мужеска пола», независимо от возраста и здоровья.

Ко времени, к которому относится наша подшивка, то есть к 1850 году, подушной оклад составлял 122—142 рубля в год. В записке генерал-адъютанта Анненкова «Об обследовании алтайского горного округа» можно прочесть, что «не только трудно, почти невозможно крестьянину платить еже-

годно такую сумму денег: он покуда тянется, но потом, и, к сожалению, в скором времени, не найдет к тому никаких средств». Сожаление Анненкова вполне понятно — из этих горьких копеек растут великолепные дворцы и оплачиваются балльные феерии. И раз крестьяне еще могут «тянуться», то остается подбадривать их шпицрутенами. Это закономерно — система горных работ военизирована. На Кольвано-Воскресенских заводах мастеровых набирают из рекрутов. Здесь имеются высшие и низшие чины, которые подчиняются горным офицерам. Младшие служащие, вроде приказчиков, — это нижние чины и приравниваются к унтер-офицерам, а рабочие — к солдатам. Отсюда и шпицрутены.

Но солдат служил 25 лет, мастеровой же — бессрочно. До полной дряхлости или инвалидности. Правда, ко времени дела Ивана Федорова мастеровые служат 35 лет, после чего их отпускают с миром, если в их рабочем билете отмечено, что они несли «бессрочную службу». За 35 лет мастеровые в полной мере успевали отведать воинской дисциплины заводов, которую даже Анненков считает «куда хуже каторжной». И не удивительно. «В конторе дали моему дяде 500 с примочкой. Мочили розги в соленой воде, — рассказывал в 1938 г. потомственный приискатель Колокольцев собирателю фольклора А. А. Мисюреву. — Когда рабочее отказывались от непосильных работ, выезжал туда сам управляющий Фрезе, выстраивал всю команду шеренгой — через двух третьего драть, бунтовал, не бунтовал — драть!».

Служба засчитывалась только с 18 лет,



Страница из дела окладного поселенца Ивана Федорова.

но А. А. Мисюрев приводит, со слов девяностолетнего гурьевского старожила М. Ф. Кожевникова (1936 г.), совсем иные возрастные данные: «Выйдет мать на двор, на звезды смотрит. Кичиги (созвездие Ориона) закатились — пора будить! Будит, а сама чуть не плачет... Выходим в путь... Мороз трещит, буран... В поле ни зги. Идем гусем: мать впереди, за ней старший малолет за ее опояску держится, другой, поменьше, за его опояску, а меньшего, случалось, матушка

несла. Нарядчик встречает сердитый, сосульки на нем висят, под мышкой — палка. Опоздали! — вопит. Ухватит, бывало, за вихор и давай таскать кругом себя... Примостимся мы под сугробом каким, а не то около скалы, чтобы снегом не так заметало, и руду на большом камне дробим. Есть захотим — костер из веток еловых разведем тут же... И начнем хлеб на огне оттаивать... сунуть в огонь — сгорит, близ огня подержать — будет стылый, жесткий, ну, молотком его

колотили для мягкости. Потом из десен кровь шла, во рту белело».

Над всем этим миром детишек, бредущих в пургу на тяжкую работу, цинготных и золотушных, над шеренгами «каждого третьего секи!», над мочеными в соленой воде розгами, над всем этим миром плохо крытых домов, ветхой одежды, скудной пищи, — живут на недосягаемом уровне выше чины. Управляющие — полковники, владельцы приисков — генералы-майоры, свои и чужеземные, с титулами и без оных.

Перед нами документ, датированный 1851 годом:

«4 февраля Его Высокоблагородию Господину Горному Исправнику и Кавалеру Александру Михайловичу Тимофееву. Томской Губернии рекрута Колыванской волости села Троицкого окладного поселенца Ивана Федорова.

ПРОШЕНИЕ

По билету, выданному из Колыванской волости на 1850 год по 1 октября, нанятым я был генерал-майором Треверзе маркиза на прииск Егоровский в чернорабочие; но по воле господина генерала маркиза установлен в караульщики в деревне Чумай к хлебному анбару, где постоянно продолжал сей караул по 8 января сего 1851-го года и с сего 8 числа приехавший приказчик Дмитрий Камышев приказал мне явиться к управляющему Федору Семенову Алексееву для расчета — по явке моей к нему Алексееву лично, вместо расчета унетаем я был служить на приiske. Попав, я служил одиннадцать месяцев с днями по сговоренной цене с прикасиком Воробьевым, в каждый месяц пятнадцать рублей ассигнациями. Отговорились, чтобы по слабости здоровья рассчитали меня, объясняя притом, что хотя я должен 124 рубля, но мне за незначительное время 11 месяцев со днями следует сто пятьдесят пять рублей ассигнациями. С вычетом лежащего на мне долгу причитается получить на руки сорок один рубль, может быть и более. Почему, не уважая справедливости, управляющий Федор Алексеев высек меня розгами, около 70 ударов, в хозяйской кухне, припоминаю, что секи повар, конюх Копан, а держали тягари Камышев и дроворуб по имени и отчеству сего неизвестные, минувшего сего января 14 числа днем. А наперед сего прикасик или тягари Камышев своегично бил меня беспощадно, приневоливая идти в работу. А по сему происшествию, случившемуся со мной, сейчас по всей справедливости вынуждаем имеюс припасть под защиту и под справедливость вашего Высокоблагородия. Слезно вспокор-

нейше осмеливаюсь просить, кому следует прикажите меня рассчитать и следующие заработанные деньги сорок один рубль выдать мне вообще с билетом, ибо я ныне чувствую от нанесенных побоев сильную слабость здоровья и лому в голове от ударов кулаками Камышева, а за нанесенные бесчеловечные побои тягарем Камышевым и высечение управляющего Алексеева розгами поступить по данным вашему Высокоблагородию правам закона в деле занятия мной караула у анбара, состоящего в деревне Чумай, принадлежащей господину маркизу. При сем честь имею представить в подлиннике данное мне деревней Чумайской от полного Общества государственных крестьян удостоверение в том, что стоял я на квартире крестьянина Якова Ачканова, постоянно поставлен был служащим г. маркиза Воробьевым, и должность свою исполнял честно и непорочно, и ничего такого не было замечено Ачканову. Ожидая Вашего начальнического удовлетворения февраля « » дня 1851 года.

К сему прошению вместо вышеназванного поселенца Федорова его личною просьбою за неумением грамоты поселяннин Петр Клюкин руку приложил».

* * *

На сероватой от времени плотной гербовой бумаге поселянин Петр Клюкин, неизвестно каким чудом обученный грамоте, вывел корявые крупные буквы. Они сливаются в неразборчивые, но украшенные затейливой прописью строки.

Немного воображения, и вот они оба. Избитый, с «ломотой в голове» окладный поселенец Иван Федоров и друг его, сельский грамотей Петр Клюкин, — сидят, толкуют: как из удавки этой выпутаться?

Видимо, они близкие друзья. Иван Федоров совершает дерзновенный шаг, обращаясь «за справедливостью» «к горному исправнику и кавалеру» Тимофееву. Потому что вовсе не ясно, попадет ли к нему это прошение или застрянет на полпути в руках какого-нибудь неукротимого низшего чина, скорого на розги. А если попадет, и тем не менее не получит «начальнического удовлетворения», — худо придется Федору! Управляющий Алексеев и приказчик Камышев не простят ему жалобы. Маркиза де Траверсе Иван Федоров вряд ли когда-нибудь сподобится увидеть, а управляющий и приказчик — это ближайшие распорядители его жизни.

Иван Федоров может продиктовать свое

прошение только близкому человеку, который его не выдаст, и к тому же отважился поставить вместо него, неграмотного, свою подпись.

Федоров вовсе не ожидает, что Алексеев и его приспешники — услужливая челядь, будут наказаны за бесчинство. Он просто доводит до сведения начальства факт избиения, скорее чтобы оправдать свою просьбу: ввиду слабости здоровья после побоев не идти на прииск, а продолжать свой караул у хлебного амбара. И волнуют Федорова уже не перенесенные 70 ударов розгами, и не ломота в голове. Это в порядке вещей. Его волнует 41 рубль, кровно заработанные за 11 месяцев деньги. Он не отрицает: да, за ним долг. Видимо, это его подушная подать, которую у него вычитают из жалования. Или забранные вперед по контракту деньги — такой метод закабаления довольно обычен в те дни — а он их прожил. Но ведь 41 рубль! Целое состояние для Федорова! 41 рубль — неполная цена второсортного фаянсового сервиза фабрики Гарднера на Мануфактурной Выставке 1850 года в Петербурге. Сервиз из фарфора стоит куда дороже: до 500 рублей, — сказано в ведомостях этой выставки. Такой сервиз можно увидеть, вероятно, на чайном столе «Его Высокоблагородия Горного Исправника и кавалера», которому адресовано «слезное» прошение Федорова.

Сам Федоров о подобной роскоши не подозревает. Ему бы свои кровные получить. И еще билет. Потому что без билета — какой он человек? Билет — это его единственный документ, право на существование в человеческом обществе. Возможно, Федоров — из тех ссыльных крепостных крестьян, которых так много появилось в Сибири в первые десятилетия прошлого века. Указ от 1822 года развязал руки русским помещикам-крепостникам. Он позволял им просто и удобно избавляться от непокорных и неугодных при помощи высылки по sacramентальной формуле «за дурные проступки». Ко времени прошения Ивана Федорова в Сибири уже было до 500 000 ссыльных крепостных. Они шли на случайные работы, бродяжничали, нищенствовали, вымирали. Золотопромышленники охотно нанимали их, составляя контракт с выдачей аванса и приискового билета. Ссылный обретал гражданский статус, у него появлялось нечто вроде паспорта. Естественно, что своему приисковому билету Иван Федоров придает такое значение.

Но кто же Петр Клюкин, писавший по просьбе Федорова его прошение? Он грамотен, и это примечательно. Правда, в поло-

вине XIX века существовала такая тенденция в Сибири: обучиться грамоте — получить низший чин. Но здесь не то! Не «боярский ли сын» Петр Клюкин? Из тех, что бежали от опалы или были посланы на специальные службы в XVII и XVIII вв.? А потом деклассировались и перешли в мещанское или даже крестьянское сословие. Такие «летучие» люди из кузнецких обывателей, даже перейдя в иное сословие, по традиции еще обучались грамоте у местного дьячка. Это он прочно вбил в голову прилежного Петра Клюкина изящные обороты речи, вроде «угнетаем был к работе» и «вынуждаем припасть под защиту».

За гипотезу, что Клюкин — «боярский сын» говорит и то, что он отважился написать по просьбе Федорова прошение. Помогая Федорову, он, должно быть, чувствовал за собой некоторые права.

Листаем подшивку.

«УДОСТОВЕРЕНИЕ»

Дано удостоверение Дмитриевской волости деревни Чумайской от полного Общества государственных крестьян в том, что от поселенца Ивана Федорова Колыванской волости, что находился в деревне Чумайской в карауле у анбара от енерала майора де Траверсе с марта месяца (и жил) и это до генваря 1851 года, и стоял на квартире у крестьянина Якова Ачканова, что он поселенец оставлен был служить енеральским Алексеем Воробьевым и который посему Федоров жил и должность свою исполнял честно и непорочно и ни в чем таком не был замечен, в чем удостоверяем по безграмотству нашему сельскому Ивану Смоленинову приложившему руку».

* * *

Прощение Ивана Федорова с приложенным к нему удостоверением о благонадежности пушено в делопроизводство. Безликая чиновничья машина втянула в себя эти два документа.

Итак:

«Управляющему Золотыми промыслами Господина генерала майора маркиза де Траверсе мещанину Елисееву.

Препровождаю при сем подлинное прошение поселенца Колыванской волости Ивана Федорова о нанесении будто бы ему тобой и приказчиком Дмитрием Камышевым побоев и о недаче ему Федорову расчета по увольнении из промыслов. Обязываю с обращением прошения объяснить с присовокуплением, имеется ли на Федорова прииск-

ной билет и был ли заключен контракт с ним на 1851 год и по какому случаю он задержан.
февраля 4 дня 1851 года.

Горный Исправник Тимофеев.

Итак, с Елисеева, или Алексея, как называет его Федоров, спрашивают объяснения. Похоже, все хорошо — справедливость начинает вступать в силу. Но заметим в коротеньком тексте вопросы: а был ли контракт? А имеется ли билет? И еще, это «будто бы». Оно сразу придает вопросу окраску: нет, мы не думаем, что ты, Елисеев, избил и обидел чем-либо Федорова, но он утверждает, что ты это сделал, возводит на тебя напраслину. Так давай, разберемся. Если с ним был заключен контракт, то, вероятно, ты дал ему денег вперед и он их «зажил», и за ним долг. И тогда его надо заставить отработать этот долг, независимо от «ломты в голове», а не то чтобы ему еще 41 рубль отдавать! И есть ли у него вообще приписочный билет? Может, он вовсе не вольнонаемный с паспортом, а просто приписной, и весь тут сказ! И тогда во веки веков не видать ему ни свободы, ни билета, ни этих его несчастных 41 рубля!

Машина заскрипела, и колесики ее завертелись с довольно завидной скоростью, если учесть, что с момента подачи прошения до ответа Елисеева произошел еще ряд событий. Но не будем забегать вперед.

Ответ Елисеева, как и следует ожидать, вполне соответствует тому, заданному запросом Горного Исправника. В ответе учтены все оттенки: и «будто бы» и «имеется ли контракт?» Нисколько не испугали Елисеева грозные «препровождения при сем» и «обязываю объяснить». Елисеев спокоен. Он существует в своей инфраструктуре, вдали от громовержца Тимофеева и тем более от вовсе уж мифического маркиза де Траверсе. Он все взвесил и все учел, и кончил дело с миром, видимо, не без пользы для себя. Он уверен в безнаказанности, и даже наоборот — выходит, что он поступил с потерпевшим более чем гуманно, по его, Елисеева, представлению:

«На препровождение по предписанию Вашего Высокоблагородия от 4 февраля за номером 15 прошения поселенца Колыванской волости Ивана Федорова имею честь объяснить: что означенный Федоров нанят был по общему контракту чернорабочим на приисках по 11 р. ассигнациями, который находился караульным с апреля месяца при хлебном магазине деревни Чумай, а не на 15 рублей в месяц ассигнациями, как написал Федоров в прошении (по 15, вместо 11 рублей ассигнациями!). Рассчитан был

мною по 12 руб. 25 коп. ассигн. И затем остался должен 44 руб. 83 и $\frac{1}{2}$ коп. ассигн., почему я приказал ему одолжение уплатить или заработать. Но он, Федоров, отказался от уплаты наличными деньгами, как после контракта в случае одолжения обязан всякий рабочий таковое заработать в следующий год. Федоров не захотел отработать и дела грубости при высылке на работу, почему дано ему при артельном старосте 25 лозанов как положено. Большие никаких побоев ему мной и Камышевым учинено не было, после чего Федоров народно был назначен на работу и напоследок учинил с промыслов побег 21 января сего года. После сего Федоров 5-го марта сего года препровожден был Вашему Высокоблагородию на прииск с урядником Михайловым для расчета, но как в уплату одолжения денег наличных Федоров не имел, то по просьбе его уволен был мной для приписания на себя поручителя в деревне Чумай, где крестьянин Яков Ачканов и поручился за него Федорова следующее одолжение уплатить, почему и билет Федорова от 4 декабря 1850 года за номером 213 препровожден к крестьянину Ачканову.

Управляющий прииском Федор Елисеев, апрель 4 дня 1851 года дело номер 15».

Здесь опять вступает в силу видимость законного ведения дела. Федорова ознакомили с ответом Елисеева:

«1851 года апреля 20 дня поселенец Колыванской волости села Троицкого Иван Федоров дал подписку Дмитриевскому Волостному Правлению в том, что ответ управляющего Елисеева, последовавший господину Горному исправнику золотого промысла, от дан 4 апреля за номером 15, я получил, в чем по безграмотству доверю за себя учинить рукоприкладство.

К сей подписке вместо поселенца Ивана Федорова просьбою его руку прикладываю Холмогорский Калистрат при Евграфе Кадомире.

При отбрании сей подписки находился волостной староста Лазарев. Руку прикладываю».

Дело почти замкнулось. Остановка за малым. Что написал в своем объяснении Елисеев, мы знаем. Не знаем мы, чем закончилась эта история для потерпевшего. Потому что в деле появляется еще один документ:

«23 апреля Дмитриевского Волостного Правления Донесение от 23 апреля 1851 года, номер 609.

Господину Горному Исправнику Томских золотых промыслов.

Отзыв Доверенного Федора Елисеева и под-

писку поселенца Ивана Федорова, от одного отобранную Вашему Высокоблагородию во исполнение предписания от 10 апреля за номером 501, Волостное правление просит обратно представить с отзывом Доверенного Елисеева от 4 апреля за номером 15.

Волостной староста Федор Лазарев».

На последней странице подшивки, скорописью, — заключение Горного Исправника золотых промыслов Тимофеева: «В сей переписке пронумерованных, проинумерованных и пропечатанных одиннадцать листов».

Дело закончено. Рассеялись окончательно наши иллюзии о «доброй воле» Горного Исправника Тимофеева. Не объяснения и оправдания в содеянном бесчинстве требует он. Его волнует, почему беглый Федоров, который так и не дождался искомой справедливости, остался должен 44 рубля. Кто вернет их? Притом каждый побег — дурной пример. Отсюда в запросе — «по какому случаю задержан».

Елисеев находит идеальный выход: да, он отпустил Федорова. Нет, никаких побоев не было — всего 25 лозанов, как положено! Заметим это страшное «как положено». Значит, 25 розог — это в порядке вещей, если речь идет о человеке, который не отдал «одоление» и притом не желает идти «в работы». Поэтому-то и Федоров особенно и не жалует, а только 41 рубль требует. Но у Елисеева расчет иной. Не присис Федорову, а тот присис должен. И не 41 рубль, а все 44 да еще 83 копейки, да еще $1\frac{1}{2}$ копейки! По-контракту. Забраны и не отработаны. И более того, Елисеев как отец родной пекся о Федорове и платил ему на 1 р. и 25 коп. выше уговора. Так что он, Елисеев в этом деле чист.

Убежал Федоров? Так ведь пойман! А Елисеев — он все знал. И что Федоров по деревне болтался. И что поручителя себе искал. Он, Елисеев, не мог допустить, чтобы контора терпела убытки, а потому сквозь пальцы смотрел на пребывание Федорова в деревне после побега. И кроме всего прочего, при «ломоте в голове» — какой Федоров работник! Это подразумевается. Иначе Федорова не отпустили бы с промыслов даже под поручительство. Ведь на золотых присисках условия работы такие, что мастеровых ссылают туда в наказание за особые провинности! Здесь свирепствует цинга, работа ведется в холоде, сырости и не прекращается даже зимой, «чтобы не кормить людей даром», хотя, по словам управляющего Алтайскими золотыми промыслами Ястржембского, «зимние работы губительны для здоровья людей». Так что работников туда не

очень-то найдешь по доброй воле, а не то чтобы их там зря отпускать! И выходит — не отпустил, а упустил Елисеев окладного поселенца Федорова. Два раза упустил. Один раз после побоев в январе, впрочем, в этом он и сам признается, был побег Федорова. Елисеев не беспокоился. Знал, что Федоров напишет жалобу, а потом все равно объявится. Куда ему без присискового билета? Сколько таких случаев было! Месяц-два побродяжит и объявится. А второй раз Федоров бежал уже от урядника Михайлова в марте. И вот тут Елисееву нужно очень ловко выйти из положения. Упустить беглого, да еще должника — не заслуга для Елисеева! Выручил его сам беглец. Убежав от урядника, Федоров пытался, видимо, укрыться у своего хозяина Якова Ачканова. Тут и был пойман. Как это случилось? И почему Елисеев пишет о поручителе Ачканове, к которому якобы по своей воле отпустил Федорова? Не Ачканов ли оказался плохой опорой для своего постояльца и выдал его? И почему бы нет? Что это за таинственная фигура — государственный крестьянин Яков Ачканов? Его мнение цитируется как достаточно авторитетное для высоких инстанций, когда требуется подтвердить добропорядочность Федорова! А ведь это как раз время, когда в деревнях вырастают кулаки. Вырастают из своих же, крестьян. Принимают поселенцев на постой. Лошадку дадут на присис поехать. Подвозом займутся. Где беглого выдадут, где приказчику подсобят. Глядишь — денежки завелись. Вот Ачканов и поручитель. За сколько сребреников продал он исправнику беглого Федорова? Или, наоборот, Елисеев не остался в убытке? Нашлись у Ачканова деньги, чтобы окупить беспокойство исправника (придется же составлять объяснение, почему Федоров оказался на свободе, и почему у Ачканова отличное объяснение: сам Елисеев отпустил беглеца поручителя искать!). Ачканов тоже не в проигрыше. Он покупает себе билет Федорова. Тот за него отработает. Да еще как отработает! А не отработает — Ачканов даст ход делу. И побег, и долг — все припомнится. Похоже, что Федоров скрылся из поля зрения все рассчитавшего Ачканова. Последний документ подшивки не зря ворошит показания Елисеева относительно 25 лозанов и первого побега злосчастного Федорова. Похоже, что теперь его разыскивают уже в Томске.

Впрочем, может, всего этого и не было. Мы приводим только возможные стереотипы поведения лиц, фигурирующих в этом деле.

Как сложилась судьба Федорова? После

11-й страницы подшивки мы уже ничего более о нем не узнаем.

Вернулся ли он в свою Колыванскую волость — одну из тех волостей, что, по доносению генерал-адъютанта Анненкова, в те времена «представляли вид большею частью скудный, а некоторые бедный: дома малы, не покрыты, дурно огорожены, одежда ветхая, нередко изорванная...»?

Вернулся ли в село Троицкое и до конца дней своих ел хлеб с примесью белой глины, о которой штабс-лекари, врачи и аптекари писали, что «хотя малейшая примесь глины к хлебу не может быть вредна, однако, для отвращения вредного всякого злоупотребления в сем случае безопаснее запретить крестьянам совершенно есть оную».

Или опять попал на прииск и отплатил полной мерой за побег: был судим Военным Судом и приговорен к наказанию розгами, шпицрутенами, к работе на прииске в кан-

далах и с наполовину обритой головой?

А может, случилось с ним то, что со многими, кто решился «через смертоубийство», или с помощью нарочно возведенного на себя обвинения в таковом, раз навсегда избавиться от приисковых повинностей? Ведь было же дело Морозова (и сколько ему подобных!), который якобы убил некую женщину, «дабы избавиться чрез то заводских работ и быть в ссылке». Но Морозова не сослали. Ему дали 1000 шпицрутенов. И он выжил!

Остался для Федорова еще один шанс. Всего-то проще: взял да и удавился! Таких случаев тоже немало насчитывает кровавая история горнозаводских крестьян 50-х годов прошлого века.

Все это предположения. Не узнать теперь, что стало с Иваном Федоровым после 23 апреля 1851 года. Ибо 12-й страницы его дело не содержит.

Этот трудный „легкий жанр“

САТИРА И ЮМОР
В КНИГАХ
КЕМЕРОВСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

* * *

Правильно это или неправильно, но бытует аналогия литературы и музыки. И если принять эту аналогию, то дело будет выглядеть так.

Серьезные жанры литературы — то же, что в музыке симфония. Сатира и юмор как бы сродни музыкальным вещам для эстрады.

Впрочем, говорю это, признаться, лишь для того, чтобы... доказать совсем противоположное. Уж, казалось бы, в последние годы никто не регламентирует сатиру и юмор, все больше выпускается сборников, исправно заседает «клуб 12 стульев», а вот поди-ка, купи хорошую сатирическую или юмористическую книжку. Пишут мало? Мало пишут. А главная-то, пожалуй, причина дефицита: слишком он труден, этот «легкий жанр».

Потому всегда с особым удовольствием воспринимаешь факт выпуска таких произведений своим, местным издательством. Тем более, если авторы тоже свои, местные.

За последние годы Кемеровское издательство предложило читателям несколько книг. Для сегодняшнего разговора выбраны две, вышедшие совсем недавно, с разрывом в три месяца: Александра Зайцева — «Тройная уха» и «Инородное тело» Юрия Тарана.

Два автора. Книги разные. Различны были задачи, стоявшие перед ними, тематика, исполнение. Единственная «объединяющая» деталь — у обоих авторов в творческом багаже по две книги.

С творчеством Ю. Тарана кузбасский читатель крупно знакомится впервые. Прежний сборник под названием «По живому клиенту» вышел прошлой зимой в Западно-Сибирском издательстве. А до того писатель-юморист выступал со своими короткими рассказами в газетах Томска, в журналах «Перец» и «Крокодил». У него определился излюбленный жанр-миниатюра, просматривается попытка создать своего юмористического героя. Идет поиск стиля.

Все это находим в кемеровском сборнике, который включил и небольшую часть рассказов первой книги.

Объекты сатиры Ю. Тарана разнолики, разношерстны. Вот недобросовестный рабочий из рассказа «Иждержки производства». Его и фамилия-то не названа, но настолько ярок тип в рассуждениях, оценке окружающего, что и оценку себе дает он четкую и недвусмысленную. «Да-а, был у нас бригадир» — восхищается герой. И далее рассказывает, какие «оплошности и вред» терпело при нем производство. Например, халтурщик гонит брак, его лишают премии, выпившего бригадир отстраняет от работы («а может, это его естественный запах?»), кладовщика-вора позорит («А имущество-то — стыдно сказать — кило гвоздей! Дешевле бутылки рижского пива...»). К новому бригадиру герой всей душой: «Исключительно душевный. Нос никуда не сует». Тут начались настоящие беды и про-

должались до тех пор, пока душевного бригадира не сняли и не послали на склад, так как ему «надо работать не с людьми, а с твоядами».

Настоящий юмор всегда в несообразности ситуации, в противоречии истинного и ложного. Здесь такая несовместимость налицо. Но одной юмористической ситуации мало. Важны особые художественные, языковые приемы, различные способы раскрытия сатирических характеров. Только что приведенный рассказ — не самый лучший в сборнике Ю. Тарана, но и по нему видно: у автора есть арсенал интересных художественных средств. Замечу пока один прием — индивидуализацию речи героя. «Вкальывает», «во демагог!», «хана» и прочие словечки и сочетания, вложенные в уста героя, они как мерка его интеллектуального уровня, к тому же жаргон этот — примета не какого-то там, а теперешнего времени.

Традицией советской сатиры неизменно остается своевременность, актуальность сатирической атаки. Вспомним прекрасный, классический пример Зощенко, Ильфа и Петрова, вспомним лучших авторов — правдивых, крокодильцев, известинцев... Писатель, выступающий в этом роде литературы сейчас, не должен про это забывать.

Умение вовремя, кстати,отреагировать на негативное явление, схватить суть порока, отразить его в яркой образной форме, в конечном счете — преподать обществу урок бескомпромиссности в борьбе с недостатками — вот задача сатиры, если она хочет называться боевой литературой.

Лучшие рассказы сборника «Инородное тело», по-моему, выполняют эту задачу. К ним можно отнести рассказы «Отзывчивые ребята», «Инородное тело», «В соответствии с кодексом», «Страдания Яши Замочкина», ряд других.

О некоторых подробнее. О чем, к примеру, рассказ «В соответствии с кодексом»? О беспринципности. Коротенький рассказ — в форме писем. Автору удается сжато, выпукло дать эволюцию некоего Костика, который видит, как ворует его начальник, но остается в стороне до поры до времени. Философия беспринципности: «моя хата с краю». Автор разоблачает эту вреднейшую философийку, ведь ее носители страшнее любых воров и расхитителей. Одна черточка осовременивает героя. «Законы у нас гуманитарные», — говорит Костик, первый раз с оттенком сожаления, другой — с надеждой (когда самого притянули к ответу). И образ приспособленца ясен, точен, выразителен.

А вот «Отзывчивые ребята». В сущности, эта миниатюра вроде на большое обобще-

ние и не претендует. Однако, стоит поразмыслить. Товарищи по цеху, дружно отказываясь поддерживать обмытые первой полочки на работе («не традиция это, а пережитки», — говорит один из них), воодушевленно реализуют эту идею за проходной («Решили пойти тебе навстречу», — радостно улыбается токарь Пивук»). Что это, как не та же беспринципность, «зацепленная» сатириком на этот раз с другого боку!

Нравственные перекосы — наиболее труднолечимы. Сатирик первым обязан «взять в руки скальпель». Историю болезни напишут потом. Важно не упустить момента. В последнее время мы все чаще поднимаем в прессе проблему «вещной болезни» у людей. Личная машина (гарнитур, красивая одежда и т. д.) или порядочность (честность, отзывчивость и др.), так некоторые пытаются расставить силы в этом конфликте, зачастую восставая... против вещей. Сатирик так ставить вопрос не может. Он исследует, а потому вернее докопается до причины уродливого перекоса в морали.

Привлекают в сборнике Ю. Тарана юмористические миниатюры на эту тему — «Этот бедный, бедный Ключин...» и «Страдания Яши Замочкина». Особенно удался первый рассказ. Полторы странички текста, и вот он, впечатляющий лик современного мещанина, спекулирующего на отзывчивости. Любопытный тип приобретателя. Не сами ли мы помогаем его становлению?

«А вчера Григория на проходной засекли. Пытался вынести два хлорвиниловых мешочка со спиртом... До товарищеского суда дошло. Большой штраф присудили. Ключин даже всплакнул, когда дали ему последнее слово для оправдания: «Простите! У тещи юбилей, гостей назвала. А коньяк-то подорожал! И мичуринский участок покупаю. А есть-то надо!..»

Простили, конечно, коль так бедствует.

Сегодня Гриша у директора был. С набрякшими глазами вымогал безвозмездную ссуду. По случаю покупки югославского гарнитура и туристической путевки на острова Сардиния».

Юрий Таран в своем творчестве (и в сборнике) отдал дань проторенным темам, таким, как коммунально-бытовые неудобства, футбольный ажиотаж и другие. Дань данью, что тут плохого? Свое слово сказать можно и в разговоре на самую, казалось бы, древнюю тему.

Вот отсюда и хочется начать о недостатках сборника и творчества автора «Инородного тела».

Мне достаточно много приходилось раньше читать вещи Ю. Тарана, особенно в га-

зетах. Частая публикация, кажется мне, имеет одну отрицательную сторону. Автору трудно разобраться, хорошо ли, плохо ли, что прошло в номере.

Газетные публикации, работающие на всепоглощающую «потребу дня», как бы сливаются одна с другой.

Но попал под стабильную «крышу» издательского сборника... Теперь рассказы живут другой жизнью. И впечатление от них тоже как бы другое.

Сборник открывается юмористической новеллой «Из-за футбола». Непонятно, причем здесь футбол? Да и историю злключения автобусного пассажира можно придумать и похлеще. Автор отдал дань времени, уже прошедшему. То же самое можно заметить по поводу рассказа «Кончились интриги» (о плохом водоснабжении в новом микрорайоне).

Не нужно было включать в сборник и рассказы «Миллион за улыбку» и «Специалисты». Они по существу варьируют одну и ту же тему. Особым юмористическим приемом последних лет стало употребление «космических» деталей. Мы можем найти их и в рассказах Ю. Тарана («Взрыв на Марсе», «Привлекающие стимулы», «Осколки будущего»). Что сказать о них? Лично мне всегда казалось, что в подобных вещах больше внешних примет юмористического (необычность ситуаций, названий, имен), того, что когда-то называлось «голое смехачество». Взгляните в наши периодические издания! В них пруд пруди «марсианско-юпитерского» юмора. Но о чем бы ни писал сатирик или юморист, его забота всегда о делах земных. Так вот, у Ю. Тарана в рассказе «Взрыв на Марсе» весь художественный и «космический» антураж создан ради простой цели: обличить штурмовщину и очковитительство некоторых строителей (земных, конечно). Тут и «марсианское летоисчисление», и «Главмарсканалстрой», и «марсотонны взрывчатки». И все это не очень смешно.

Суммируя сказанное, остается пожелать автору требовательнее и взыскательнее относиться к своему творчеству, искать свой путь в сатире, не повторяющий ничей.

* * *

Александр Зайцев — газетчик по профессии. Личное увлечение его — рыбалка. Общение с природой. От соединения двух этих взаимодополняющих занятий мог получиться добродушный созерцатель. Получился автор своеобразной «Тройной ухи» (о ней, в основном, и пойдет речь). Но в творчестве

своим А. Зайцев и сатирически щетинист, если вспомнить его дебют сборником фельетонов «Кирпич в сердце» (Кемеровское издательство, 1966 г.).

Вот такой, биографически даже, интересный человек, кузбасский литератор Александр Зайцев.

Тогда, в 1966 году, на проходившем в Кемерове зональном семинаре молодых писателей, он был в группе Сергея Антонова. И Антонов, большой мастер тонкого, а подчас язвительного юмора, разбирал его первую книжку. Некоторые фельетоны ему понравились, часть подверглась необходимой критике. В общем, доброе взыскательное слово было сказано.

За круговертью газетной работы прошли годы. И вот недавно читатель увидел новую вещь А. Зайцева — своеобразный монолог о племени рыболовов, их любимом деле, о природе и человеческом характере.

Для ясности хочу сразу же «высветить» два момента. Изданная «по титулу» краеведческой литературы, «Тройная уха» только внешней привязкой принадлежит к этому разряду, ибо, как предупреждает сам автор во вступительной главке, «перед вами не сборник кулинарных рецептов». Точно так же это не фенологические заметки, не записи натуралиста, не путеводитель по рыбным угодьям. И второй момент. В литературе «о рыбаках и рыбаках» считается «руководящей» книга советов и рецептов, которую написал (и блестяще, с подтруниванием) Мануил Семенов, редактор журнала «Крокодил». Книга А. Зайцева напоминает семенинскую лишь одной деталью — распределением глав по месяцам, причем год Семенин обычный, а рыбацкий год Зайцева — начинается в марте (и доказано, почему так правильнее).

Анализировать книги вроде «Тройной ухи» по литературным элементам (сюжет, завязка и пр.) нельзя. Это, как я сказал, монолог. Сделан он на одном дыхании. Это книга специфической лирики, я бы назвал ее лирикой действенной, активной, потому что цель автора не просто «влюбить» читателя в природу, а поощрить в нем желание стать защитником земли, воды, всего живого.

Истовые рыбаки, — как все увлеченные, у равнодушного человека вызывают этакую насмешечку, фанатики, мол. Собрат, зная собратьев лучше всего, расскажет о них с юмором, в котором нет сторонности равнодушного, насмешки непонимающего.

Об одних автор говорит с изрядной долей патетичности.

«Кажется, любого здравомыслящего чело-

века не загонишь на лед и пулеметным огнем. Но блеснильщик идет добровольно».

О других — с оттенком удивления:

«После первой лунки он снимает шубу, после второй — телогрейку, после третьей — меховую безрукавку. Когда дело доходит до пиджака, «хоккеист» возвращается к первой лунке, одевается и... разматывает удочку. Это — мормышечник!».

О третьих — с гордостью: «На остановке гнутся в ожидании автобуса синие граждане. Но вот из-под крутого берега реки показывается длинная цепочка рыболовов. Заиндевшие и усталые, они медленно идут след в след. Чем-то напоминают эти здоровые, закутанные в меха и вату мужчины упрямых, неунывающих, настырных мальчишек. От их железных орудий и полупустых рюкзаков веет Арктикой и превосходством. И люди на остановке распрямляют окостеневшие спины, стараются унять крупную конвульсивную дрожь».

— За что страдаете? — жалостливо спрашивают рыболовов. — Пристипома в магазинах есть. Отреклись бы...

В ответ на это один из мормышечников... подобно великим мученикам древности, проносит назидательно и убежденно: «А все-таки она ловится»...

Манера письма у Зайцева приятная. Легко ли в разговоре, в общем-то, на специальную тему, с тьмой терминов и выражений, соединить мягкую неторопливую лирику с познавательностью, пронизав это юмором! Тем большая трудность, что автор рисует минимум реальных образов (Коля Бакин, Сабунаев, Виктор Гришук). Его обобщенные типы рыболовов, знатоков и одержимых, не воспринимаются общими, безликими. К примеру, полубогиня бабка Со-рока или дед Доха. Их портреты писатель дает одной-двумя фразами, точно, броско, впечатляюще. Иногда он знакомит с героем подробно, и тогда следует поучительный рассказ (Глухов в главе «Драпарнальдия»), иногда персонаж мелькнет в калейдоскопе

встреч, но какой-то своей индивидуальной черточкой дорисует, скажем, портрет Поплавочника-73 или скептика из рыбацких «оппонентов».

Но у Зайцева есть и другие «персонажи». Без них в такой книге никак было не обойтись. Любовно, со вниманием относится автор к Окуню, Ершу, Щуке и другим обитателям рек и озер. Вот образец того, как автор описывает «второе действующее лицо книги»: «Самый крупный ерш был выловлен в Кие в 1894 году. Доночники говорят, вес его был 930 граммов! Обычный же вес современного ерша 25—30 граммов. Из них 10 граммов глаза и 15 — колючки. Что же остается для тройной ухи?»

Не дорога добыча, считает автор, если попалась случайно. Знать все о рыбе и рыбалке, с уважением относиться к ним, значит, уважать окружающее, людей, природу. Вот почему в одном месте книги выливаются самые сокровенные слова автора, ради этой мысли и писалась вещь. «Потом лежим на прохладной траве рядом с костром, глядим в бесконечное черное небо. Безнадежно запутался в верхушках пихт ночной таежный ветер. Мы чувствуем себя чужаками этого необъятно сильного и доброго мира».

Такова «Тройная уха». Хочется отметить интересное построение книги. Автор придумал к главам и разделам много хороших юмористических заголовков, подзаголовков, подчас неожиданных, что усиливает впечатление от материала. Книга, на мой взгляд, удачно иллюстрирована художником Л. Левичкиным.

Уверен, попадись «Тройная уха» Александру Зайцеву любителю рыбной ловли, он найдет в ней прямо-таки бесценные сведения (автор щедр и выдает секреты полностью). Ну, а те, кто рыбачить не привык, испытают удовольствие читая эту книгу, написанную с подкупающей добротой и улыбкой.

В. КОПЫЛОВ.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА ЗА 1974 ГОД

Наш современник

Геннадий Емельянов. Мой знакомый Эдисон. № 4.

Нина Спирина. Лучший вариант. № 3.

10 лет Запсибу

Александр Антонов. Люди у огня. Репортаж. № 2.

В. Колубакин. Адреса записбовского металла. Таль и сталь. Сад. (Записбовские были). Из летописи Запсиба. № 2.

Анатолий Садовиков. Трудный чугун. Записки бывшего начальника штаба. № 2.

А. Шойфот. Вчера, сегодня, завтра... Рассказ о проекте Запсиба. № 2.

Что читать о Записе. № 2.

Стихи

Людмила Бородкина. У ручья. Банька. № 1.

Виталий Веретенников. Женщина. «В одной квартире городской...». № 2.

Галина Золотанна. «Стоят, как ветераны, тополя...» «Я вся похожа на тебя...». «Не заумною и мудрою...». № 4.

Александр Ибрагимов. Воспоминания... «Прозрачной каплей паучок...», Перед выздоровлением. «И белая лошадь...», «На твоих коленях огонь...». Листопад. № 3.

Владимир Иванов. «С утра осыпает порошей...», «С тобой, непонятной такой...». № 2.

Игорь Киселев. «Возьми, Записб, меня в ученики...». № 2.

Анатолий Кислицын. Девчонка. Частича бытия. Рядовая работа. Тропа. № 1.

Алла Красикова. Нарисую тебя на снегу... № 1.

Олег Максимов. Молчание. Наедине. «Есть полночи в начале марта...». № 1.

Александр Мишуков. Осеннее. № 2.

Михаил Небогатов. «Как часто кажется...», «Судьбе говорю я спасибо...», «За какое бы дело...», «Не браните бесталанных...», «Каждый день — как новая ступень...». № 2.

Иван Полунин. Росчерк тучи. Зовет причал. № 1. «Когда порывистая осень...», «Без грома и молний...», «Заколобродила пурга...», «Передохну на перевале...», Здесь когда-то. № 4.

Александр Родионов. «Друг мой давний...», Топографические воспоминания. «Аккуратненько подрубили...». № 4.

Вера Сергиенко. Музыка. № 1.

Тамара Старосветова. «А я сама к тебе пришла...». № 2.

Леонид Торгаев. Сенокос. Сердце. Свиридовна. № 2.

Раиса Чигракова. «Брожу родным поселком в тихий вечер...». № 2.

Геннадий Юров. Город в тайге. № 4.

Повести

Анатолий Кругляков. Такая долгая весна. № 1.

Владимир Мазаев. Хочу лететь на Модуйку. № 4.

Валентин Махалов. Вниз по Волгре. № 3.

Рассказы

Екатерина Дубро. Самое главное. № 1. Транзитом. Богиня Семеновна. № 2.

Владимир Куропатов. На телеге.

Пожили-поработали. У магазина. Сашка-водовоз. № 4.

Виталий Рехлов. Крещение. № 2.

Зинаида Чигарева. Маша. Концерт для скрипки с оркестром. № 4.

Виктор Чугунов. Встреча. № 1.

Стихи детям

Александр Береснев. Еж. Спрятались. Помощник. № 4.

Анатолий Кислицын. Шар. На прогулке. Лиля. № 4.

Валентина Томилина. Вьюжица. Осень. Тучи. № 4.

Проблема?.. Да, проблема

Петр Ворошилов. Стимулы почина. № 2.

И. Дрейцер. Информация: благо или зло? № 4.

Статьи

В. Мазаев. Повышать творческую активность писателей Кузбасса. № 3.

В. Махалов. Первая разведка. (О семинаре начинающих литераторов области). № 2.

Земля и люди

Ю. Киселев. Кондома в осаде. № 1.

Страницы истории

М. Кушникова. Обычное дело. № 4.

М. Сорокин. «Бунташное село». № 1.

Прошел... Увидел... Рассказал...

Анатолий Амзоров. Журавушка. № 1.

О. Павловский. Гусь — блюститель порядка. № 1. Шишкарь. Подводный домосед. № 4.

Искусство

Зоя Естамонова. Мастер. № 3.

Илья Половинкин. Юргинские древности. № 1.

Слово — критике

В. Копылов. Дождь целительное беспокойство. № 1. Томь: тревога и надежды. № 2. Этот трудный «легкий жанр». № 4.

Владимир Матвеев. «Первоистоки». № 1.

В. Ширяев. «Любите живопись, поэты!..». № 3.

Литературная учеба

А. Куприн. Десять заповедей. № 2.

Веселая минутка

Александр Зайцев. В стиле «вампир», Птица весенняя. № 3.

Геннадий Кравцов. Самые первые. № 4.

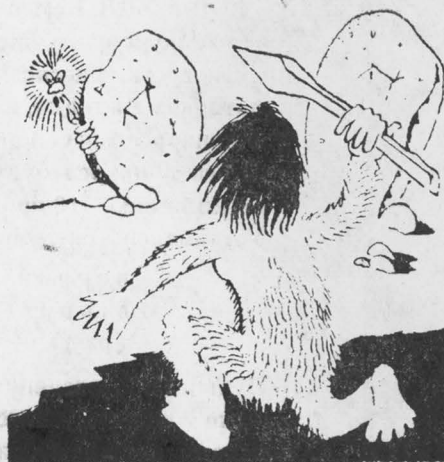
Владимир Матвеев. Современный романс. Явное недоразумение. Странный юнец. Невезучий. Юноше, пишущему верлибры. Случай с художником. № 3.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ

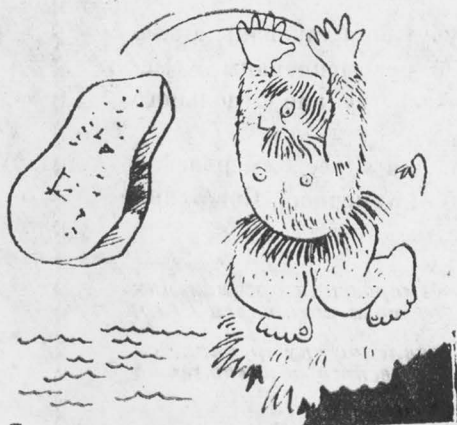
Ген. Кравцов



Первый автор



Первый критик



Первый редактор

КОНКУРС

*на лучшее
литературное произведение,
посвященное работникам
кузбасской милиции*

Кемеровская организация Союза писателей РСФСР и УВД Кемеровского облисполкома объявляют конкурс на лучшее художественное произведение (повести, рассказы, циклы стихов, поэмы) о работниках милиции, их добровольных помощниках.

В конкурсе могут принять участие все желающие.

Итоги конкурса будут подведены к Дню советской милиции — 10 ноября 1975 года.

Установлены следующие премии:

первая — 400 руб.

вторая — 300 руб.

третья — 250 руб.

Лучшие произведения будут опубликованы в альманахе «Огни Кузбасса» и рекомендованы Кемеровскому книжному издательству для отдельного издания.

Рукописи следует высылать в адрес Кемеровской писательской организации (Кемерово, Советский проспект, 94).

*Кемеровская организация
Союза писателей СССР*

*Управление внутренних дел
Кемеровского облисполкома*



Цена 38 коп.

КЕМЕРОВО 1974